

ВЫСОКИЙ БЕРЕГ №1

A photograph of a rocky coastline. In the foreground, there is a pebbly beach with waves washing onto it. The middle ground shows a steep, rocky cliffside with sparse, dry vegetation. At the top of the cliff, a white lighthouse with a glass-enclosed lantern room is visible against a clear blue sky.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ ГОРОДА АНАПА

АНАПА
2014



Стела «Город воинской славы».

7 мая 2011 года Указом Президента России
почётное звание «Город воинской славы» присвоено городу Анапе.

ВЫСОКИЙ БЕРЕГ №1

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ ГОРОДА-КУРОРТА

АНАПА



Анапа,
2014 г.

ББК 84 Р7-5
Ф 75

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор Б.Е. Шереметьев
Составитель и редактор В.И. Фокин
Ответственный секретарь Т.К. Хоменко

© Журнал «Высокий Берег». Анапа, 2014-140 с.

Пилотный выпуск журнала «ВЫСОКИЙ БЕРЕГ» посвящён Огневу Владимиру Фёдоровичу – анапчанину, писателю, критику, международному общественному деятелю (очерк о жизни и творческом пути читайте в разделе «Литературный портрет»).
В создании номера приняли участие прозаики и поэты, публицисты и краеведы г.-к. Анапа и Краснодарского края.
Герои их произведений – наши современники, свидетели и участники исторических и героических событий минувших и нынешних дней.

ISBN 5-350-00030-6

ББК 84 Р7-5
Ф 75

Редколлегия выражает искреннюю благодарность авторам и читателям, внёсшим свой вклад в издание журнала.

Редколлегия знакомится с письмами и материалами читателей и авторов, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов, дат и цифр несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редколлегии.

Литературные произведения принимаются только на электронном носителе и в печатном виде.

ISBN 5-350-00030-6

© «Высокий Берег»
© Текст – коллектив авторов
© Дизайн-макет – В.И. Фокин
© Фотографии – О.А. Арифалин



ОГНЕВ Владимир Фёдорович

(фото 1970 г.)

Родился 7 июля 1923 года в Полтаве. Образование высшее, окончил Литинститут имени Горького в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Писатель, критик, киносценарист, международный общественный деятель. Работал главным редактором экспериментальной творческой киностудии, главным редактором альманаха «Горизонт», журнала «Феникс-XX». Автор множества критических сочинений, мемуаров, повестей.

Награжден орденами, медалями, дипломами СССР, Польши, Югославии.

Член СП СССР, СК СССР, президент Международной ассоциации писателей «Европейского форума». Почётный член Союза писателей г.-к. Анапа.

НАТУРАЛЬНОВОЕ СЛОВО

У Анапы, где прошло моё детство и довоенная юность, было три точки общения с морем: бескрайние пляжи с золотыми песками (анапская Копакабана!), «Малая бухта» и «Высокий берег».

Уному человеку пришла мысль назвать литературный журнал «Высоким Берегом»! Второй, главный, смысл прекрасен. Сколько за этим надежд...

И я вспоминаю... От старого маяка до кладбища был когда-то мост из белого мрамора и на нём во всю ширину странная надпись: «Стой, чёрт! Куда тебя несёт!» И мы, дети, сжимались от страха.

Но каждое утро я бежал к морю, благо дом наш стоял недалеко от Высокого берега. За маяк, за кладбище спускался бегом по крутой тропинке, садился у воды. Закрыв глаза, слушал, как море воркует с камешками. Потом смотрел на воду. Косые лучи только ещё подымающиеся солнца не просвечивают воду, даже у берега она была тёмной.

На теле выступали пузырьки, купаться было рано. Какого чуда я ждал? А ведь ждал, сам себе не имея признаться в этом.

Я был один на всём берегу, пока хватало глаз. Бухта в этом месте была широкой, и скала в полсотне метров от меня казалась фиолетовой. Незаметно вставало солнце, его блики появились на поверхности морской глади. Было тихо. Тепло. Море всё больше розовело до самого горизонта... («Время и мы», 2005 г.)

Море манило своим бесконечным простором.

... Творчество начинается так. На Высоком берегу среди зарослей жасмина и одуряющей акации стоит «образцовая школа им. Пушкина». В прохладной комнате 4 класса, где за огромными венецианскими окнами видны проходящие в Трузию теплоходы, идёт спектакль «про шпионов»: написана эта пьеса мною. Шпиона играю я. «Пограничник» – Сурен Манукян из 4-го «Б» класса, нажимает на курок. Но, ужас! – Васька Тубан за занавеской должен отпустить край доски, имитируя звук выстрела, а звука нет. И я падаю, так и не дождавшись его. Васька отпускает, наконец, край доски, когда я уже лежу на полу, утирая слёзы позора.

На стене в коридоре висит стенгазета, где каждую неделю публикуется продолжение безразмерной поэмы «Анапский Рауст» моего сочинения. И я с наигранно-равнодушным видом, но бьющимся сердцем, издали наблюдаю, как дружественно хохочет толпа соучеников-семиклассников. Поэма сатирическая, учителя узнаваемы.

А потом была война. И много чего было...

Только море оставалось прежним. Плаинственно-огромным... За Высоким берегом.

И журналу с таким значимым, символическим названием – «Высокий Берег» – доброго пути и счастливой судьбы!



Владимир ОГНЕВ, член Союза писателей СССР,
Президент Международной Ассоциации
писателей «Европейский Форум»
3 октября 2013 г., г. Москва



ЧЕХ Наталья Алексеевна – родилась в апреле 1951 г. в семье сельских учителей, в станице Раевской на юге Кубани. Образование медицинское.

Литературным творчеством занимается с 2003 г. Публиковалась в журнале «Анапа сегодня», газетах Анапы. В 2008 году выпустила сборник рассказов «Прости меня», в 2010 году – повесть «Царство Котломыч».

Ветеран труда.

Член Союза писателей г.-к. Анапа.

Кубанский борщ

Рассказ

Лето! Жара стоит невыносимая. Огромные лопухи, привядшие на солнце, развалились под плетнями. В их тени прячутся свиньи, похрюкивая от удовольствия. Сонные собаки валяются посреди дворов. И только вороны, поглядывая на брошенную мозговую косточку, воровато крадучись, дабы не вспугнуть хозяина лакомства, умудряются утащить из-под носа Шарика то, что по праву принадлежит ему.

Полдень. Маленькая сестрёнка спит в летней кухне. Свеже-помазанная доливка (пол) хранит прохладу. Бабушка, тряпкой разогнав мух, занавесила дверь чистым домотканым рядом. Затем, зачерпнув ковшом воды из старой бочки, полила двор, полюбовавшись на цветущие мальвы, вылила на них остатки воды. Слегка потянуло свежестью и стало чуть прохладней.

Дед дремал на старой лавке, которая, казалось, навеки вросла в землю. Раскидистая калина, нависая ажурным пологом, спасала от жары почти половину двора.

Я качался на качели под старой шелковицей. Петли мерно поскрипывали.

– Петро! – позвала бабушка. – Прынысы воды с родника, тилькэ с дальнего – там вода слаще. Буду борщ варить.

Идти не хотелось страшно, но не послушаться и в мыслях не было. Борщ у бабушки – святое дело, да и вообще на Кубани борщ возведён в «культ личности». Редко какой день без борща обходится. Едят его горячим, прямо с пылу – с жару, и холодным, в поле – из банки через край. Борщ бывает и постным, и с мясом, и летним, и зимним. Любая кубанская хозяйка вам столько расскажет о борще – устанете слушать! Причём, расхваливая только свой борщ, хотя секреты других хозяек ей тоже известны.

Ну, куда уж им до неё. Вот Пляшенчиха, к примеру, кладёт в борщ красный бурак, от этого картошка становится красной, борщ сладкий, а это уже – «негожая еда».

Было удивительно, как им удавалось всё знать друг о друге. Летом готовили на улице, на «кабыце» (плите), которая стояла посередине двора, топилась соломой, хворостом, дровами, а то и просто сухими навозными лепёшками. Представьте летнюю жару и

дышащую жаром печку, возле которой хозяйки проводили чуть ли не половину дня. Зато как потянет ветерком запахи по улице, бабушка сразу и замечание отпустит:

– У Параски сѣдня борщ перекипел – старым пахнет.

Эта осведомлённость меня всегда удивляла.

Взял я вѣдра и пошёл на дальний родник, босиком по тёплой пыли, утопая в сером её бархате по самые щиколотки. Родник находился прямо над речкой, его холодная, чистая струя с шумом падала в воду, ореол мельчайших брызг переливался радугой.

Ополоснув вѣдра, наполнил их холодной водой. Став на одно колено прямо в лужу, подставил лицо под струю и пил, пил вкусную ледяную воду. Затем снял рубаху, намочил её, крепко выжал и снова надел – стало прохладно, взял вѣдра и быстро пошёл под горку. Дома бабушка ждала с нетерпением.

– Петро, як надумаю умирать, тебя за смѣртью пошлю! Печка готова, а воды нэмае!

Я виновато пожал плечами. Она с досадой махнула рукой и отвернулась к плите. Тут-то и начиналось самое главное колдовство. Печь должна иметь нужную температуру, которую бабушка определяла на глаз. Огромный чугунок устанавливался на печь, снимались две вьюшки, если снять три, борщ может не получиться, бурное кипение испортит вкус, – тогда хоть Шарик под хвост вылей, говорила бабушка.

– Петро! – она позвала меня. – Сходы сынок на город и выдерни буряка и морквы, ты знаешь яки.

Бурак нужно было рвать только специально борщевой, розовый, с белыми прожилками по кругу, имеющий терпковато-солоноватый вкус, морковь только «каротельку», ярко-оранжевую, сладкую.

Придирчиво осмотрев овощи, бабушка принялась их чистить. Картофель горкой лежал рядом. Картошка – это вообще очень «серьёзный» продукт: должен быть только «американкой» и закладывался в борщ в три приёма. После того как закипела вода, бабушка поместила в неё «дрибненьку» картошечку, ей суждено было развариться, что называется «вмотлах», и создать основу овощного бульона. Летом борщ в основном варили без мяса. Это был великолепный отвар из отборных овощей, но до этого ещё далеко.

Так вот, пока картофель варился, на огромную сковороду мелкой соломкой бабушка нарезала бурак, морковь, много лука, 2-3 болгарских перчины и на масле всё это тушилось, время от времени помешивалось деревянной лопаточкой. Бабушка подняла крышку на чугуне и пристально смотрела, в каком состоянии картошка, как только заметила, что картошка почти готова, она бросила в воду пять больших красных помидоров. Они плавали на поверхности, шкурка на них лопалась и закручивалась, бабушка ещё некоторое время наблюдала за процессом, затем ловко выловила ложкой и сложила помидоры в дуршлаг, который попросту называла «трушляк». Она поставила его в глубокую миску и стала перетирать помидоры большой деревянной ложкой. Тщательно перетерев, отставила в сторону. Миска стояла на столе, издавая вкуснейший запах спелых помидоров. Желе с розовой пеной так и манило к себе, непременно хотелось сунуть туда палец и облизнуть, но бабушка за всем успевала следить.

– Петька, нэ крутысь, будэ трэба – позову.

Я сел на качели и ждал дальнейших указаний. Бабушка, заметив моё безделье, тут же спохватилась:

– Петрусь, сынок, а ну живо на горѳд, срежь качан капусты, там внызыне, бльще к речке.

Я мигом сорвался и полетел в конец огорода. По опыту знал, моё промедление может подвести весь процесс. Настроение у бабушки будет испорчено – на весь день хватит причитаний. Борщ обязательно не получится, а то и того хуже, будет «як ци у кацапчат», а это уже звучало как оскорбление всего рода кубанского.

Так как в спешке я забыл нож, а возвращаться за ним уже было поздно, я выдернул качан вместе с корнем, земля рыхлая у речки, влажная, капуста росла на славу, листья огромные, зелёные, с капельками воды. Притащил весь этот ворох, бабушка всплеснула руками:

– Петька, бисова дытына, чи ты не знаешь, як цэ робытысь?!

Большим ножом она быстро отсекала листья и откинула их ногой. И уже другим, ласковым голосом:

– Петя, кинь гусям, хай едят, – в хозяйстве всё шло в дело.

Положив на доску качан, бабушка с хрустом разрезала его пополам, сок брызнул ей в лицо.

– Гарна капуста! Петро, если нэ будышь мешать – борщ должен получиться, хотя казать ще рано.

– Ну да, я виноват, как что, так Петька!

– Петро мовчи! Лучше сбигай за чесноком.

Я покорно поплёлся на огород.

– Две головки здоровых, – услышал вслед бабушкин голос.

Принёс чеснок, бабушка покосилась на него, пошевелив бровями, что-то ей не понравилось. Не дай Бог, борщ не удастся – я пропал.

На сковороде шипело, хлюпало, пузырилось и вкусно пахло. Бабушка вылила туда весь помидорный сок – поднялся столб пара. Всё это перемешав деревянной лопаткой, она добавила под сковороду две вьюшки:

– А то будэ, як у Рябушихи, чёрна жарка.

На сковороде всё успокоилось и медленно томилось. В это время в чугунок пошла очередная порция картофеля – это были четыре крупных картофелины. Затем бабушка извлекла из банки кусок старого сала, жёлтого, крепко пахнущего и тщательно порубив его, соскребла ножом с доски в большую деревянную, пропитанную жиром салатовку, туда же накрошила целую луковичку, мелко нарубила болгарскую перчину и большую головку чеснока. Пока она этим занималась, я пару раз подбросил в печь хворост, он вспыхнув, обдал меня нестерпимым жаром. Закрыл заслонку и только сел на прежнее место, как вдруг бабушка, словно что-то вспомнив, спохватилась:

– Сынка, а укропчика, чи ты сам не знаешь, забыв?!

Голос у неё был ласковый воркующий, я встал и пошёл за укропом.

– Нарвы побильше, тикэ зэлэного.

Нарвал, принёс. Бабушка бросила укроп в чашку с водой, затем достала из кипящего чугуна целые картофелины и положила их в салатовку, а в бульон высыпала остальную картошку, нарезанную одинаковыми кубиками средней величины. И тут я допускался к делу.

– Петенька, перетолки всэ, а то так руки болят.

Я взял толкушку и начал мять картошку, тщательно смешивая её с салом, луком, перцем. Бабушка, морщась, наблюдала:

– Ой, горе мое, дай сюды, – и она, отобрав у меня пестик, быстро и ловко растёрла всё в белую однородную массу. Начинаясь самый ответственный момент. Капуста белой горкой лежала на столе, нарезанная ровными полосками, а картошка была уже готова. Бабушка быстро сыпала с доски всю капусту в чугунок и кипение приостановилось. Бабушкины глаза пристально наблюдали за поверхностью бульона и, как только через капусту стали пробиваться первые пузырьки, она выложила ложкой содержимое салатовки, обдав её внутри кипятком из чугуна, вылила всё обратно. Сразу по двору пошёл дух, но это был ещё не борщ. Это, если можно так сказать, была только его середина. В это время к бабушке нельзя было даже подступить. Не приведи Бог, сказать что под руку. Перекипит капуста и борщ будет «як поило для свиней».

А капуста должна слегка хрустывать, в этом весь смак кубанского борща. В нужную минуту, известную только одной бабушке, в чугунок выливалось содержимое сковороды, перемешав до самого дна, посолив три раза и положив в борщ веточки укропа, она накрыла чугунок крышкой, отодвинула тряпкой его на край плиты, и облегчённо вздохнула:

– Кажись, получился, – вытерев фартуком красное потное лицо, бабушка удовлетворённо произнесла: – Пока борщик настаивается, сходы, Петя, на город, та нарвы зэлэного луку и горького перца – найды красну, здорову перчину.

Я вприпрыжку побежал по дорожке, уже точно зная, что последний раз.

Вернулся, бабушка накрывала на стол, на нём уже стояла глубокая деревянная миска, расписанная красными петухами, и лежала глубокая, старая, щербатая, но неза-

менимая ложка. Солонка тоже была из дерева, в ней, прямо на соли, лежали крупные зубки чеснока. Зелёный лук с капельками воды был положен на вышитое полотенце, длинные свежие перья свисали со стола.

– Ну, Петя, гукай деда!

– Дедушка, борщ готов! – крикнул я.

– Сам знаю, шо готов, уже давно ноздри щекоче, такого борща во всей станице не найдэшь, – слышалось в ответ.

Бабушка улыбалась одними глазами:

– Скажешь ще можэ ты и женился на мне из-за борща?

– А можэ и так, бачь яка любовь крепка вышла.

Дед подошёл к раковине, висевшему на дереве, вымыл руки, не спеша вытер их рушником. Со стола взял каравай хлеба и стал резать через всю булку. Ломти получались большие, белые, сложив хлеб в плетёную корзинку, дед важно произнёс:

– Учись, Петька, хлеб должен мужик резать, бабье дело борщи варить, а хлеб, он всему голова!

Бабушка не удержалась:

– Сидай уже, голова, ел бы одын хлиб, если бы я борща не наварила.

Дед важно сел во главе стола. Бабушка, распахнув крышку, выпустила на волю борщевой дух, и понёсся он над всей станицей. Взяв дедову чашку, налила до самых краёв. Борщ был действительно на славу, жёлтым янтарем разлился по поверхности, все овощи сохранили свой первоначальный цвет.

А запах этот никогда не забыть. Так пахнет дом, лето, детство!

На столе стоял «глэчик» с густой домашней сметаной. Бабушка, зачерпнув ложкой горку, опустила её в дедову чашку. Сметана так и осталась белой серединой в ярко оранжевом борще.

Но самое интересное было впереди.

Дед взял здоровенную красную перчину, надкусил кончик и уложил её вдоль ложки, своим зелёным хвостиком она цепко держалась за край и находилась в ней в течение всей трапезы, добавляя своим вкусом особый шарм борщу.

А шарм был не простой. Как только дед, зачерпнув первую ложку, с шумом втянул в себя содержимое, я перестал есть и посмотрел на него.

Дед крякнув, понюхал хлеб и размеренно принялся за еду. Он взял лук, смачно макнув его в соль, с хрустом откусил сочный стебель, затем, зачерпнув полную ложку борща, нестерпимо сёрбая, отправил её в рот. Бабушка покачала головой.

Перчина оставалась в ложке, но видно было, что дело своё она сделала. У деда покраснел нос, из глаз покатались слёзы. Бабушка подсунула ему полотенце. Он утёрся, отложил ложку, взял крупный зубок чеснока, натёр им горбушку хлеба и, откусив изрядный кусок, заел его борщом.

Нос и глаза у деда были такие, словно он намазал их этой самой перчиной, но он не сдавался.

Под конец дед кряхтел и постанывал, слёзы градом катились по щекам и терялись в усах.

Он поочередно ел лук, закусывая его борщом, затем доел чеснок и, опустошив чашку, отодвинул её от себя.

Было смешно видеть заплаканного, с красным лицом, но довольного дедушку. – Гарный борщ! – сделал он заключение.

– Можэ ще добавочки? – ласково спросила бабушка. – Ты хоть понял, шо ты ел, перец или борщ?

– Мовчи старая! Сёдня ты сварила самый вкусный борщ! Пора Рябушиху на поединок вызывать. С этими словами дед лёг на лавку.

Я вырос. Давно живу в большом городе и уже давно не ел бабушкин борщ. Эх, если бы можно было занести Кубанский борщ в Красную книгу. Равного ему нет!

Три судьбы

Рассказ

– Ой, цветёт калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я, – выводил песню красивый девичий голос.

А калина действительно цвела, разрослась пышным кустом, выбросила крупный белый цвет и стояла, как невеста, у самого колодца, обнимая его зелёными ветвями.

Большая станица раскинулась в долине, окружённая невысокими холмами, словно отгородившись от всего мира. Рано утром хозяйки выгоняли скот со двора. Пастух выводил его на пастбище.

Во главе стада ходил огромный белый козёл. Его шелковистая шерсть свисала до самой земли. Мощная грудь гордо выпячивалась, рога были закручены так, что сразу не понять, вперёд они торчали или назад. Взгляд его жёлтых злых глазок выдавал гордую натуру вожака.

Пастух был полной противоположностью предводителю стада. Можно было только удивляться, как он справляется с непослушной скотиной. Высокий, тощий, со включенной бородёнкой и торчащим кадыком, он больше был похож на старого растрёпанного ворона. Зимой и летом носил до самых пят выгоревший плащ да старые кирзовые сапоги. При себе имел высокую сучковатую палку, торчавшую выше его головы. Рядом бегал бесшумный пёс по кличке Дозор. Вот он, да козёл и были главными смотрителями стада, а пастух так, больше для формы. Сунет какая сердобольная хозяйка кусок пирога, другая бутылку парного молока, да и сыт на весь день. Мало кто знал о нём правду, всякое поговаривали. Замкнутым человеком жил. На краю станицы стояла небольшая хатка, крытая позеленевшим от времени камышом. Она-то и служила ему пристанищем. Пастух был глубоко пожилым человеком.

Население в станице прибавляется быстро. Молодёжь женится, детишек заводит. Уж никто и не помнил, пришлый был пастух или старожил. Звали его Матвеем, а то чаще Мотей, да безразлично ему было всё. Замечали односельчане, любил Матвей бывать у старого заброшенного колодца. Воду из него никто не брал, то ли далеко было ходить, то ли ещё что, один Мотя придёт, сядет на подгнивший осевший сруб и смотрит на тёмную воду, а потом опустит ведро на верёвке, зачерпнёт воды студёной и плеснёт её под корень калины.

– Расти, невеста, – грустно произнесёт вслух. И таким нежным взглядом осмотрит куст, будто человек перед ним родной стоит. Поглаживает веточки заскорузлыми пальцами, долго сидит, думая о чём-то своём, и никому не ведано, что творится в душе его измученной.

Давно это было. Уж быльём поросло. Видно, один Матвей и помнил то время, когда перевернулась его жизнь. Двадцати лет от роду он слыл первым парнем в станице. Высокий, мускулистый, лицом пригож, весельчак – хоть куда. И на гармошке сыграет, а уж если в круг встанет, равных ему не было. Такие коленца выкидывает, что зависть берёт парней, а девки визжат от восторга.

Весело жила молодёжь, трудилась от зари до заката, а уж гулять – так тоже до зари. Сначала попляшут, попоют, а потом по парочкам разобьются и разойдутся каждый в своё укромное местечко.

Жила в станице дивчина, старого казачьего роду. Анастасией величали. Небольшого росточка, но такая ладненькая, словно вылепленная. Косища в руку толщиной, уложит вокруг головы короной, царица прямо. Глаза большие зелёные, свежий румянец во всю щёку, а уж певунья какая! Бывает, только Матвей на гармошке заиграет, а её чистый голосок и зазвенит на всю станицу, сдёрнет косыночку с плеч и пойдёт вокруг Матвея кружить, каблучками пристукивать. А он играет да любитесь на соседку. Когда подрасти успела, сам не заметил. Только уж больно бередили душу глаза её зелёные, да улыбка с ямочками на щеках. Потянулся Матвей к Анастасии, а та ответила взаимностью. Бывало

нет-нет, да и увидят парочку у реки. Скроются от глаз людских под пологом старой вербы и воркуют. Только узнал об этом отец Анастасии. Не по нраву пришёлся ему выбор дочери. С виду-то Матвей видный хлопец, но род его казачий не знатный и несколько обедневший. Хата небольшая, хозяйство малое, да батько был любитель до горилочки, детей куча, Матвей старший. Мать, задёрганная жизнью, не по годам согнулась, всё сноху поджидала.

– Да не бывать этому! – рубанул ладонью по столу отец Насти, – Отныне с дому ни ногой! На той неделе сваты заедут с соседней станицы. Богатые казаки, не чета твоему долговязому.

– Батько, не надо! – запричитала Анастасия.

– Цыц, як сказал, так и будет!

Мать успокаивала дочь.

– Не плачь, отец добра тебе желает. Дался тебе этот Матвей. Ну куда ты, такая красавица, в ихнюю кабалу залезешь, мы ж тебя кохали для богатой жизни.

– А для любви, мама, вы не кохали меня, чтоб ложилась я и просыпалась в руках любимого? А не считала, сколько кабанов вырастили, да сколько грошей с продажи выручили.

Выплакала Настя все глаза. Матвей каждый вечер ходил к реке, только не шла его зазноба.

И вот, вскоре, воскресным утром увидел он возле соседских ворот заезжую нарядную бричку, явно не станичную. Дрогнуло сердце, вот она разгадка в чём – сваты приехали. Долго стоял Матвей, поджидая гостей непрошенных. Выбежала мать Насти за чем-то в погреб, заметила парня.

– Иди домой, от греха подальше.

«Иди», а самой жалко их любовь губить, видела, как дочь убивается, да и Матвей с лица сошёл.

– Тётка Ульяна, не отдам Настю!

– Уже отдал, – горестно поджав губы, проговорила Ульяна. – Сосватали уж твою птичку, и клетка захлопнулась. Свадьбу наметили после Покрова.

Так и остался стоять Матвей, закаменевший, со сжатыми кулаками. А между тем, сваты, обговорив свадебные хлопоты, заручившись согласием батьков, собрались в обратную дорогу. Вышли весёлые: горилка разгорячила, громкие разговоры, смех. Настя даже не попрощалась с новоявленным женихом, а ему она очень глянулась – огорчило это Игната.

– Ничего-ничего, – успокоил отец, – Это она от радости в себя не придёт.

Только ступил Игнат за ворота, и встретился с высоким красивым парнем, с ненавистью смотревшим ему в глаза. Оба были статные, молодые. Встали друг перед другом, и всё понял Игнат: «Похоже, не собирается ему уступать незнакомый парубок. Ну, это мы ещё посмотрим». На правах законного жениха оттолкнул грубо плечом Матвея, да только плечо не слабое оказалось: устоял парень. Сверкнули очами и разошлись. Засела у каждого в душе заноза острая.

Долго ждал Матвей встречи с Настей, пока удалось ей выйти из дому. Встретились у колодца за селом. Плакала дивчина горькими слезами на груди у любимого, и это была их последняя встреча перед свадьбой. Изменить ничего нельзя: отец непреклонен. Только и сумела выпросить дочка, чтобы не увозили её в чужую станицу. Хоть это и не по правилам сватовства, но батько дал согласие: самому жалко дочь отпускать. Нраву сурового был старый казак, а в душе нежно лелеял цветочек свой любимый. Благо жить места хватало. На большом подворье стояло два дома. Да согласится ли сват сына в примачи отдавать?

Сказать надо, что станица была районная, крепкий колхоз, большая тракторная бригада, два гаража, конюшня, кузница. Работы для молодых рук, хоть отбавляй. И пошёл Настин батько на хитрость, сам был в казачестве не последним человеком, вес имел, переговорил с нужными людьми и предложил будущему зятю заведовать колхозной куз-

ницей. Долго думали сваты: «Негоже сыну в примаках ходить, но с другой стороны, станица их небольшая, работа в поле, да в конюшне, а тут и перспектива, да и всё ж в начальстве сынок, а там глядишь, и родители переберутся к нему под крыло.» Согласились, и началась подготовка к свадьбе. Родичей было много как с одной, так и с другой стороны. Гулянье затевалось грандиозное. Чем ближе день свадьбы, тем мрачнее становилась Настя. Пропал её свежий румянец. Улыбка навсегда исчезла с лица. Даже косу свою не укладывала, как обычно, короной, а висела она нечёсаной вдоль спины. Убивалась Анастасия по любимому. Мать жалела дочку.

– Слюбится, доченька, стерпится.

– Эх, мама, что вы делаете, как бы потом жалеть не пришлось?

– Что ты говоришь такое, Настенька, не ты первая не по любви выходишь, – и стала вспоминать подобные браки, – А уж живут как богато, и детишек заимели.

– А я не такая как все, – ответила дочь.

Ульяна тяжело вздохнула и пошла хлопотать по дому.

Наступил день свадьбы. Столы ломились от угощения. Свадьбу готовили по всем казачьим обычаям. Мужики одели праздничные одежды. Все выглядели молодцевато, масляно поглядывали на девок и молодых казачек. Те, разодеты в пышные юбки с красивыми шальями на плечах, с лёгкой усмешкой проплывали мимо. Все ждали выхода молодых. Вскоре гости расступились, и на пороге появилась Настя об руку с Игнатом. Вид у дивчины был печальный, впрочем, как и полагалось невесте. Красивое белое платье, фата надета короной, вся из мелких восковых цветочков, украшала её горестно опущенную головку. Игнат, в парадном мундире, с пышным чубом, выбившимся из-под фуражки, выглядел бравым казаком. Вот только глаза, зло прищуренные, искали кого-то в толпе. И опять встретились два ненавистных взгляда. Матвей стоял позади всех, и сердце его кровоточило свежей раной. Невыносимо было видеть свою возлюбленную в свадебном наряде. Анастасия подняла голову и безрадостным взглядом окинула гостей. И тут глаза её вдруг вспыхнули и наполнились слезами. Заметила своего любимого. Горькими были слёзы, очень горькими.

Молодых усадили в богатую бричку, и тройка красивых лошадей под звон бубенцов тронулась в сторону церкви. Взглянув в голубое небо, Анастасия бледными губами прошептала:

– Господи, не оставь меня, спаси и помоги, если сможешь.

Но, видно, не услышал Бог её тайную молитву. Церковный обряд показался долгим и мучительным. Игнат силой разжал пальцы невесты и надел обручальное колечко. Она же, не глядя, дрожащей рукой одевая ему, уронила кольцо на тарелочку, что держал в руках батюшка. Печально звякнуло оно и застыло на месте. Гости притихли. Игнат спешно сам одел его на палец. Состоялся первый супружеский поцелуй. Прикоснувшись губами к холодным, словно мёртвым губам Анастасии, Игнат со злостью подумал: «Дай Бог, выдержать до конца свадьбы, покажу тебе, как мужа любить. Он, переступив через гордость казачью, пришёл в дом тестя, и вот благодарность. Ну, нет, не таков он, топтать душу вольную, никому не позволю». Веселье было долгим, шумным, гости выпили немеряно горилки, опустошали столы, закуска вновь подносилась, дарили подарки молодым. Здесь было всё: и посуда, и бельё, и ковры, и поросёнок, который истошно верещал. Дружное, пьяное «Горько!» заставило вздрогнуть Настю, безучастно сидевшую на собственной свадьбе. Встали, Игнат после стопки горилки был озлоблен. Грубо притянув Анастасию, долго слюнявил её губы и, резко отпустив, сел на место. Почти без сознания невеста произвольно стёрла ненавистный поцелуй тыльной стороной ладони. По столам прокатился неодобрительный шёпот. Чтобы загладить положение, отец Насти басом, заглушая гостей, пропел:

– Дарю молодым дом, да в придачу..., – и стал перечислять все подарки, приготовленные для дочери.

«Эх, отец, – усмехнулась про себя дочка, – лучше бы вы жизнь мою не губили». По закону гуляли три дня, соблюдая все станичные традиции. От пьянки лица у мужиков

стали похожи на лики иноземцев. Бабы, наплясавшись и напевшись до хрипоты, растягивали по домам своих благоверных. Свадьба в станице – счастливое событие, говорить о нём можно долго и весело, но эта свадьба счастливой не была. И народ чувствовал это.

Постель для молодых приготовили в подаренном доме. Комнату украсили цветами. В красном углу висела икона Божьей матери с младенцем. Посреди небольшой столик накрыт для ужина. Графинчик с водкой поставили, так, на всякий случай, как говорится, для храбрости жениху. Молодые молча переступили порог спальни, где должно было совершиться таинство природы – первая брачная ночь. А вышло всё не так: ночь не любви, а ненависти. И никто не мог вычеркнуть из памяти Анастасии её любимого Матвея.

– Раздевайся! – грубо рявкнул Игнат. Взяв со стола графин, выпил всю водку прямо из горлышка, и повернулся к Анастасии, – Я тебе сказал, – зло выругался.

Настя стояла будто каменная. «Лучше умру, чем лягу с ним!» – думала она. Игнат тем временем медленно расстёгивал португеею, закусив до крови нижнюю губу, ждал. Анастасия медлила. Внезапно хлётко обожгло спину. Свадебное платье разлетелось по швам. Это было начало их супружеской жизни.

Игнат совсем опьянел. Что-то звериное появилось в его взгляде. Содрав остатки платья, он с силой швырнул Настю на постель. Закрыв лицо руками и стиснув зубы до боли, с чувством ненависти и брезгливости во всём теле, она ждала, когда это разъярённое чудовище сделает своё дело. Игнат смотрел на неё, ладное красивое тело разжигало в нём похоть. «Ну, пусть не любит, зато моя» – захлёбываясь от ревности, думал казак. И вдруг, неожиданно нежно, прикоснулся к её груди, провел рукой по животу, погладил бедро, любясь своей возлюбленной. Больно, очень больно было ему, за что так опозорен, за что растоптана его гордость? Ведь всей душой он проникся к этой милой дивчине, мечтал на руках носить, своей женой называть. «Убью», – думал он о Матвее. Водка и мрачные мысли сделали своё дело, так и не тронув Настю, Игнат забылся нездоровым сном. Она, отодвинувшись от ненавистного мужа, сжавшись в комочек, лежала глядя в одну точку сухими глазами. Мыслей не было никаких. Мир для неё перевернулся. Любовь и ненависть сплели в тугой узел судьбы трёх молодых сердец. Настя посмотрела на икону и прошептала:

– Мать Божья, не дай мне детей от нелюбимого.

Пробуждение Игната было тяжким. Мутным взглядом он обвёл комнату. Вспомнил всё – на душе стало гадко. Насти в комнате не было.

Выйдя во двор, дочка встретилась с матерью. Ульяна провела бессонную ночь, сердцем чуя неладное.

– Доця, доброе утро, – заискивающе проговорила она.

– Не доброе оно мне, мама, – отводя взгляд, тихо проронила Настя.

– Доченька, – Ульяна кинулась к ней.

– Не надо, мама, – и повернувшись, пошла вглубь двора. На её спине через марсельскую кофточку светились багрово-синие рубцы.

– Господи! – заломила руки Ульяна, – Сгубили девку.

Долго избегала встречи с зятем. «Душегуб», называла его про себя. Хотя чувствовала за собой родительскую вину.

Трудно, очень трудно жилось Игнату и Анастасии под одной крышей. Он принял станичную кузницу, и больше пропадал на работе. Анастасия нехотя, без радости, заполняла день домашними делами. Жили своим двором, как было принято, завели хозяйство. Еду готовила мужу без души, то не досолит, то пересолит, а то и вовсе подгоревшее подаст на стол. Игнат, стиснув зубы, молчал. Вечера были самыми мучительными для обоих; находиться вместе было невыносимо, говорить не о чем. Так, разве только, о хозяйстве перекинутся двумя-тремя фразами. Ложились рано. Настя как всегда, тихо лежала на краюшке кровати. Игнат любил и оттого мучился вдвойне. А она молча ждала, когда муж, подтянув её к себе, выполнит супружеский долг. Перед глазами стоял Матвей. Уже пошёл четвёртый месяц её неволи, а она ни разу с ним не встретилась. Матвей работал в

механической мастерской. Стал замкнутым, гармошка его больше не играла, не выводила на улицу молодёжь, не плыли над станицей залиvistые девичьи голоса. Лишь изредка, по выходным, затянет какая дивчина грустную песню, да тут же и смолкнет. Не клеилось веселье у молодых без Матвея и Насти.

Игнат не находил себе места, стал чаще прикладываться к рюмке. Придёт домой, сядет за стол, склонив голову на руки, да так и просидит, чуть ли не до самого утра. А Насте безразлично, лишь бы её не трогал. А то иногда придёт пьяный, нет-нет, да и подымет руку на жену. Зло ведь оно копится-копится, а потом и вырвется наружу. Притихли Настины родители, чувствуя вину свою перед дочерью. Ульяна всё корила мужа:

– Единственной дочке жизнь загубил. Как жить теперь? Всё внуков ждали, да видно не будет их.

Не беременела Настя, дошла её просьба до неба, не хотела она носить от нелюбимого.

На работе у Игната не ладилось, часто пьяный кричал на людей. Пошли пересуды, дошло до председателя. Состоялся первый неприятный разговор:

– Своих парней много, а я вот уважил просьбу Настиного батьки, тебя поставил над кузней. Да теперь жалеть приходится. Матвей куда как лучше сгодился бы для этого дела, – выговаривал председатель.

«Ну, это уж слишком, ему, казаку вольному, рода знатного, в душу плюнули. И опять Матвей на пути». Домой шёл пьяней обычного, задумал недоброе. Анастасия его таким ещё не видела.

– Что радуешься, змея подколодная? Сломала казаку душу, будьте вы прокляты всем родом своим! – он схватил со стены охотничье ружье, – Убью твоего Мотьку!

Настя со стоном повисла на руке мужа. Раздался гулкий выстрел, пуля попала в икону.

– А-а-а! – закричала Настя.

Игнат отбросил ружье, упал перед ней на колени, обхватив ноги, зарыдал по-мужски, содрогаясь всем телом.

– Прости, прости, Настенька, люблю я тебя, тяжело мне, не хочу так больше, не могу!

Впервые за долгие месяцы Настя почувствовала к нему жалость. Слегка прижав его голову к своим коленям, тихо произнесла:

– Ну, будет тебе.

Хотела ещё что-то сказать ласковое, но слова не шли на ум. «Сам виноват, знал, что не люб мне!» – думала Анастасия, глядя на пробитую икону. Не миновать беды – сердце зашло о любимом. Игнат тяжело поднялся, стоял, пьяно качаясь, посреди комнаты, потом как-то сразу сник, свалился на лавку и уснул. Зимой темнело рано, Анастасия, накинув тулупчик, выскользнула на улицу. Знакомая дорожка привела к дому Матвея, а он стоял на крылечке, глядя в темнеющее небо. Луна, на миг, выкатившись из-за туч, осветила Настю. Сердце больно рванулось в груди, Матвей бросился ей навстречу.

– Родная моя, как долго я тебя ждал!

– Я боюсь за тебя, боюсь, Мотя, любимый.

Матвей закрывал её рот горячими поцелуями и чувствовал вкус девичьих слёз. Эту ночь они провели вместе, в заброшенной хатке на краю станицы, что стояла недалеко от колодца. Любили друг друга, стараясь отлюбить, отнять у судьбы, то что так жестоко у них отобрала.

– Матвей, родной мой, – с мольбой в голосе шептала Настя, – Дай мне слово, что уедешь из станицы, хоть на время, чует моё сердце, не кончится это добром.

Матвей молчал.

– Я не могу жить без тебя, мне не мил белый свет, если что-нибудь случится, прощенья мне не будет, – продолжала Настя.

Матвей был не из робкого десятка, и ему совсем не хотелось покидать родную станицу, здесь, по крайней мере, он дышал одним воздухом со своей любимой. Настя не унималась:

– Если ты уедешь, мне будет легче, я разберусь с Игнатом, он отпустит меня, я клянусь тебе. Мы будем вместе когда-нибудь.

Говорила, а сама в это не верила. Боялась только, что напьётся в очередной раз Игнат и выполнит обещанное – убьёт Матвея. Плохой знак – разбитая икона. Скрывая от Матвея истину, вымолила у него обещание уехать на время к тётке в Украину. Прощались долго, расставание было тяжким. Эх, если можно бы знать всё наперед!

Вернувшись домой на рассвете, Настя крадучись пробралась в дом. Игнат храпел на лавке. Облегчённо вздохнув, разделась и легла в холодную постель.

– Ты где была? – услышала она голос мужа.

– Коза вот-вот окотиться должна – сходила посмотрела.

– Ну и как?

– Да, нет ещё.

«Господи, спал же мертвецким сном», – содрогнулась Настя.

Рассвело. Игнат встал, выпил рассолу. Настя подхватила приготовить завтрак.

– Лежи, не надо, – охрипшим голосом остановил её муж.

Накинув на плечи овчинный тулуп, вышел из хаты. Землю припорошил лёгкий снежок. Зима выдалась не холодная, но к Рождеству, как и полагается, приморозило. Лужицы сковал тонкий ледок. Из труб потянулись дымки. Бабы рано растопили печи, готовясь печь рождественские пироги. На работу идти было рано, голова раскалывалась от вчерашнего, душа свернулась в рогожий куль, да так и осталась. «Больно, обидно, как жить дальше?» – идя в никуда, думал Игнат.

– Куды в такую рань? – услышал старческий голос, станичного сторожа, которого больше держали для порядка, в станице жизнь была спокойная и, как правило, ничего не случалось, – А то бачив, твоя чуть свет домой верталась, а теперь ты бродишь.

Огнём обожгло Игната. «Вот оно что, сначала душу выжгла, а теперь ещё и роконосцем сделала» – закусив губы, Игнат застонал.

– Гнат, тоби шо, погано? – не унимался дед.

«Ой, как погано» – разум помутился у Игната. Взялся за штaketный забор, чтобы не упасть – затрещал штaketник. Мелькнула мысль, вернуться домой и разобраться с женой. Хмель прошёл. Голова трезвела. «Ой, нельзя сейчас, нельзя, наломаю дров», – задыхаясь от злобы и ревности, соображал Игнат.

Как прошёл день не помнил. Даже выпить горилки отказался. Брёл домой по тёмной улице и был страшнее грозовой тучи. Подойдя к калитке, долго стоял, глядя на светлые окна дома. Ах, как хотел он, чтобы его ждала любящая жена, вкусная еда, маленький сын. Но ничего этого не было у Игната, – ни сына, ни дома, жена была чужая. Как угрюмый утёс, стоял молодой парень, кто виноват, кто в ответе за всё? Небо молчало, а сам ответить не мог. Увидев мужа, Анастасия побледнела. Беда стояла на пороге. В руках у него были старые вожжи, кулак посинел, зажав узел. Не стала оправдываться Настя.

– Да, постылый ты мне, постылый, не любила я тебя, и никогда любить не буду! Ты же знал, что сердце моё Матвею отдано. Зачем сватал, на что надеялся? Да, была я в эту ночь с ним и отлюбила за всю жизнь свою пропащую. И если случится ещё, убегу от тебя босиком по снегу, ноги Матвею целовать буду. Умереть лучше, чем видеть тебя каждый день!

Все ожидал Игнат, но слов таких не предвидел. Лопнула пружина, которая сдерживала его весь день. Взял жену за косу, накрутив на руку.

– А теперь ты покажешь мне, где миловалась всю ночь!

Волоком вытащил из хаты. Настя молчала, это бесило ещё больше. Озверел, кровь стучала в висках.

– Покажу, где миловалась, – со стоном произнесла Настя, – На полу в пустой холодной хате я была счастлива, и тебе такое счастье не понять.

Ошибалась Настя. Как часто Игнат в мыслях мечтал о своей жене. До боли ревнуя, хотел любить жаркое тело, хотел чувствовать живые мягкие губы, но каждый раз находил рядом с собой холодную женщину и полное равнодушие.

Высказав всё мужу – на душе стало свободно, привела Анастасия Игната к заброшенной хатке.

– Хотел? Смотри, вот здесь я была счастлива, – на полу лежала охапка примятого сена.

– Как скотина в хлеву, – рявкнул Игнат и ударил её по щеке. Настя, потеряв равновесие, попятилась, – Запомни, я тебя никогда не отпущу, всю жизнь моей будешь, – прорычал нелюбимый, – На цепь посажу, заставлю руки мне лизать, добром не хочешь – посмотрим, чья возьмет. Забудь Матвея, не доводи до греха! – приблизился вплотную Игнат, как хотелось обнять жену и забыть весь этот ужас.

– Отойди, – отступая, прошипела Настя, лицо её перекошилось и было страшным, зелёные глаза смотрели безумно.

– Настя, – испугался Игнат, – Не надо, Настя!

Но было уже поздно. Крик застыл в воздухе:

– Ой, мамочки, простите меня, не могу больше!

Старый колодец принял её в свои холодные страшные объятия. Тёмные круги сомкнулись, и стало совсем тихо. Луна, испугавшись, спряталась за тучу. Не сразу понял Игнат, что случилось непоправимое. Рыдал, ползал вокруг колодца.

– Настя, Настенька, жёнушка, родная моя, что ты наделала? Прости меня! Зачем так жестоко ты наказала нас всех? Что я скажу твоему Матвею? Боже, нет мне прощения!

Страшную ночь пережил Игнат. Поседел его буйный чуб. Жалко было смотреть на этого могучего парня, на коленях застывшего у колодезного сруба.

Пил Игнат долго и страшно, но водка не глушила горе, а только разжигала и бредила наболевшую душу. Очнувшись ненадолго, сходил к колодцу и посадил тоненькие веточки калины. «Пусть цветёт как невеста».

Матвей, как и обещал Насте, на следующий день после их встречи уехал из станицы. Жил у тётки на Донетчине. Продолжал любить Анастасию и верил, что всё наладится, и они, наконец-то, будут вместе. Вечерами, думая о ней, представлял в мыслях родную станицу, улыбаясь, вспоминал ту ночь любви в заброшенной хате. Откуда ему было знать, что для Анастасии это была последняя ночь в её жизни? Другая уже не наступила. Никто из родных и друзей Матвея не отважился сообщить ему эту страшную весть. Почти год он жил, надеясь на встречу с любимой. И только зимой, когда у колодца нашли тело замёрзшего Игната, написала мать письмо: «Возвращайся, сынок. Нету твоей Настеньки».

Не сразу понял Матвей смысл написанного, а понял – не поверил. Приехал домой, и остановилась для парня жизнь. Как она прошла, не помнил. Схоронил родителей. Родилось уже два поколения. Старых почти не осталось, а молодым не было дела до старого странного пастуха.

И вот, как-то летом, завыли на краю станицы собаки.

– Не к добру это, – всполошились старики. А утром, как всегда, выгнали бабы скотину в стадо, а пришёл встречать один Дозор. Нашли Матвея сидящим у колодца, привалился спиной к старому срубу, и застыл его невидящий взгляд, обращённый к калине. В заскорузлых пальцах зажата тоненькая зелёная ветвь, будто за руку держал свою Настеньку. Так и закончилась эта грустная история, которую распутала сама жизнь, некогда связав её в тугой узел из трёх любящих человеческих сердец.



Зарина-Новикова Екатерина Ивановна (1837–1940 гг.), прозаик. Родилась в Анапе, в семье коменданта крепости. Закончила в Пензе дворянский пансион. В 1859 г. переехала в Санкт-Петербург. Общалась с Н.С.Лесковым, А.Ф.Писемским. На «субботах» у Зариных бывали Ф.М.Решетников, С.С.Дудышкин, В.В.Крестовский, П.И.Вейнберг. Сотрудничала в газетах и журналах «Труд», «Русский бог», «Современник», «Русь» и других. Автор многих рассказов, повестей, пьес. Одна из значимых её работ – роман «Николай Бронский». В советское время писала мемуары. Вниманию читателей предлагается её повесть «Черкешенка Уляша», в которой рисуются кавказский быт, атмосфера помещичьих усадеб.

ЧЕРКЕШЕНКА УЛЯША

Повесть

ГЛАВА I

Воспоминания эти относятся к тридцатым годам девятнадцатого столетия, когда мой отец был плац-майором крепости Анапа. На ту пору мне уже стукнуло семь годков. Как старшая среди братьев и сестёр, я мнила себя уже не ребенком, а вполне самостоятельным человечком, и потому частенько ускользала от внимания нянюшек и бабушек. Более того, я никому не позволяла над собой насмеяться и делала то, что особенно строго воспрещалось детворе: бегать на крепостной вал или Красную батарею, взбираться на высокую каланчу, выстроенную на нашем дворе по одобрению матушки для оглядки мятежных окрестностей бастиона.

Особо притягательным местом для меня был тогда вал с полевой стороны. Я любила пробежаться по нему туда-сюда, посидеть на тёплых камнях или, взобравшись на лафет, засмотреться на картины, открытые взору. С неподдельным интересом то следила за плывущими облаками, устало садившимися на седловины гор; то наблюдала за густыми столбами дыма, медленно поднимавшимися из труб черкесских саклей; то останавливала свой взор на поляне, где под бдительным оком вооруженных казаков паслись домашние животные с колокольчиками на шее, убаюкивающе тренькавшими на всю округу.

Хотя матушка строго-настрого запрещала часовым пускаться на вал, я, тем не менее, с их молчаливого согласия навещала облюбованные места.

Но вот однажды, когда, выкроив желанную минуту, взлетала стрелой в свой укромный уголок, часовой преградил мне путь, строго сказал:

– Нельзя, барышня, ни-ни... Черкесы рыщут по берегу, в кустарниках. Я уже пятерых заприметил, как бы греха не вышло.

– Какой грех? Может, они мирные.

– Вот-то! Они тогда бы не махали своими шапками, – ответил часовой.

Едва успел это проговорить, раздались выстрелы, пули прожужжали неподалёку от уха.

Я, конечно, стремглав убежала домой.

В крепости поднялась суматоха. Комендант, а с ним и мой отец появились на валу. В подзорную трубу оглядели окружающую местность и, после нескольких расспросов у часовых, отдали нужные распоряжения.

Вечером у нас собрались все офицеры со своими жёнами. Толковали о случившемся; рассказывали о нескольких движениях из ближайших станиц, где черкесы произвели много грабежей. Посчитали необходимым назначить небольшую экспедицию, чтобы усмирить разбойников, и, после долгих переговоров, кончили тем, что все сели за зелёные столы.

Меня уже давно отправили спать. Вдруг раздался выстрел из крепостной пушки, другой, третий. Ударили в набат. Я в испуге соскочила с постели, проворно, наспех оделась, и бросилась из детской, несмотря на протесты нянюшки. Как буря, ворвалась в комнату матушки; гляжу – раскрытые столы, брошенные в беспорядке карты, недопитые стаканы с пуншем, горящие свечи – и ни души.

Я взбежала на башню. Там были почти все дамы и ни одного офицера.

– Ты уже тут? – спросила меня матушка.

– Мне страшно, – ответила я, кутаясь в её платье.

Вой собак, мычание коров, ржанье и фыркание лошадей, крики солдат, бегущих на сборный пункт, пальба из пушек – всё это сливалось в один нестройный гул, от которого я невольно дрожала всем телом. Ночь была тёмная, совсем почти чёрная, хотя небо было усыпано звёздами. Небольшой ветерок со стороны бастиона изредка доносил нам громкий голос отца, отдававшего приказания.

– Боже мой! Чем-то всё это кончится! – твердила матушка. – Смотрите, вон, кажется, ворота открыли и наши выезжают. Помогите им, Господи, и охраните их!

Матушка набожно прочертила воздух рукой, благословляя отъезжающих. Следуя ей, все молча, перекрестились.

Спустя несколько времени гам постепенно умолк, пальба стала реже и, наконец, совсем прекратилась. Значит, наши отогнали черкесов от крепости и пустились их преследовать.

Начинала заниматься заря, когда мы спустились с башни.

Позже отец рассказал, что черкесы сделали большое нападение на наш обоз, стреляли по часовым.

Комендант выслал сотни две казаков, приказав им гнать бунтовщиков как можно дальше. Отец, видимо, беспокоился и жалел, что послали мало казаков.

День был июльский, знойный. Взобравшись на башню, мы как на ладони видели всю окрестность. Широкая извилистая дорога тянулась прямо в горы и терялась в густом лесу. По ней должен был возвратиться наш отряд. Далеко между гор виднелся густой дым, поднимавшийся чёрными клубами. Это горел аул, подождённый казаками.

Дамы беспрестанно приходили и выходили с нашей башни. Комендант и мой отец не оставляли бастионы.

Стало вечереть. Отец только что пришёл домой и хотел перекусить, как верховой прискакал с известиями, что наши выехали уже из лесу и скоро будут в крепости.

Отец уехал, а мы все вышли на башню, надеясь что-нибудь увидеть. Время, казалось нам, идёт слишком медленно.

Не прошло, думаю, и двух часов, как послышался у ворот голос отца. Мы поспешили к нему навстречу.

Он вошёл, сопровождаемый несколькими казаками; один из них что-то бережно нёс на вытянутых руках.

– Ну, Прасковья Ивановна! – обратился от дверей отец к нашей матушке, расточая улыбку. – Привез я тебе гостинец – черкешенку. Смотри на диво-дивное, любуйся!

Я забежала вперёд, чтобы взглянуть на чудо, умотанное в шаль.

Матушка и Авдотья Никитична засуетились около него. Последняя была вдова – дьяконица, которая постоянно пребывала у нас, как своя, очень добрая, услужливая.

Девчурку уложили на большой турецкий диван, послали за фельдшером. Живое существо было совершенно неподвижно: глаза закрыты, окровавленная голова тяжело откинута на подушку; изредка из груди исторгались тяжёлые вздохи, которым тихо и жалобно вторила маленькая лань, привязанная большим платком к груди девочки. Матушка высоводила крошечное животное и отдала горничной Наташе, наказав унести её в избу Степана – нашего старого садовника.

Наконец-то пришёл фельдшер и осмотрел раненую. Оказалось, что у неё повреждена голова ударом шашки. Длинные, густые волосы от крови слиплись и вызывали у бедняжки боль. Надо было их срочно обрезать, чтобы промыть повреждённое место.

Дрожь пробежала по моему телу, когда я увидела в руках фельдшера ножницы. Эта операция должна была причинить невероятную боль, которую, как мне тогда казалось, я не в силах была бы перенести. Но девочка лишь глухо простонала раз-другой, тем самым вызвав у меня и сострадание, и даже любовь.

Операция прошла благополучно. Когда голову перевязали бинтом и оставили больную в покое, я подошла к ней ближе, чтобы взглянуть на нежное личико. Прежде всего меня поразили чёрные тонкие бровки и густые длинные ресницы, которые, словно бархатные каймы, вырисовывались на её бледном лбу. Красивый нос, пунцовые губки по временам открывались, произнося какие-то непонятные для меня слова. На ней была надета белая рубаха, красные широкие шаровары, пёстрая короткая юбочка и зелёный шелковый бешмет без рукавов, обшитый серебряными галунами; узкий серебряный пояс с бляхами, обхватывал её тонкую талию. Ступни ног были обуты в красные сафьяновые чуваки, обшитые серебром.

Вскоре из кабинета вышел отец. Когда подали чай, он стал подробно рассказывать нам про экспедицию, хвалить храбрых офицеров и рядовых. Словом, черкесы были прогнаны из ближайшего аула, который наши казаки зажгли, а соседний – разорили солдаты. Ко всему много угнали скота, захватили несколько кадушек мёду и всякой рухляди. Немало черкесов попало и в плен, хотя наши были так ожесточены, что иногда, не слушая команды, кололи без разбора тех, кто попадался под горячую руку.

Тяжело вздохнув, отец добавил:

– Жальче всего было смотреть на пожилого черкеса, не отстававшего от молодых. На его глазах убили жену, дочь красавицу и маленького сына. Старик бросился к ним на выручку, но спасти их уже не смог. Потому хотел заколоться, но наши солдаты упредили, обезоружили. Тогда он пал на колени и стал умолять, чтобы его убили, что он не хочет жить без семьи. Слезы и просьбы старика так растрогали наших, что некоторые из них бросились к трупам, думая, что ещё можно их оживить. Но поздно... Старика чуть живого привезли в крепость. Всю дорогу он был в жару и бредил. Доктор, говорит, воспаление мозга, вряд ли выживет.

А ещё отец удивлялся тому, как дался в наши руки живьём сын Сади-Керима, родовитого черкеса, владевшего лучшими табунами горских скакунов; что пленённая девочка тоже из богатой семьи, родители её убиты, а брат успел убежать в горы.

Матушка с Авдотьей Никитичной охали и даже плакали, слушая этот рассказ о жестокостях, неизбежных в войне с горцами, которым, по условиям их же военной системы, надо было всегда отплачивать тою же монетою, и даже с лихвою. Только таким образом, оказывается, покупалась русскими поселенцами относительно спокойная жизнь. Но ненадолго.

На другой день из аулов прибыли переговорщики во главе с Сади-Керимом. Обрадованный тем, что ему выдают сына в числе прочих пленников, в обмен на наших, привезённых в числе десяти человек черкесами, он тут же пообещал моему отцу подарить какой-то необыкновенный кинжал.

И действительно, спустя два дня через одного из мирных стариков-черкесов было передано замечательное оружие, в богатой оправе, с драгоценными камнями. Когда

аборигену предложили ехать домой, он, будучи очень слабым, отказался и через день умер. Но перед смертью подарил моему отцу какой-то талисман, который, по его уверению, всегда спасал его от вражеской пули. Это была маленькая серебряная вещица, вроде складного ковчежца, внутри коего, за стеклом, виднелось зёрнышко величиною с горошину. Матушка посчитала святотатством разбирать ларец.

Веря во всевозможные гадания, предсказания, талисманы и тому подобное, она со вниманием выслушала отца; поцеловала мусульманский подарок и, вполне уверенная в его могуществе, надела на шею отца.

– А нашу девочку, никто не спрашивал? – осведомилась она

– Нет! Верно, брат ещё не вернулся из-за гор. Да и как ему узнать, что она в плену?!

– Но ведь её, наверняка, видели другие пленники, когда везли сюда?

– Вряд ли... Тем не менее, до приезда брата, надобно окрестить её... Матерью желает стать комендантша, а я – отцом. Будет нам как родная.

– Ну что ж... – сказала матушка. – Быть посему. В таком случае, согласно их закону, брат её откажется от сестры.

Потолковав о предстоящих крестинах, отец ушёл к коменданту.

Через несколько дней, когда рана поджила, полонянку окрестили, нарекли именем Ульяна. Во время христианского обряда она плакала и просилась домой; в утешение ей всё это обещали...

Мне было жалко Уляшу. Я вертелась около неё, стараясь приручить к себе, сделать подругой в играх. Этого мне удалось достичь лишь по истечении скучной зимы, в продолжение которой она сдружилась со Степаном, нашим старым садовником из казаков, не раз бывавшим у кавказцев в плену, хорошо знавшим их обычаи, и язык. Он полюбил девочку, как дочь, ласкал, когда она тосковала по родственным душам, вёл разговоры по-черкесски. А ещё она отличала Игната, нашего портного из крепостных.

Мы с Уляшей стали неразлучны. Везде и всюду были вдвоём. А третьей с нами Оленка – маленькая лань, белая, красивая, с небольшими рожками. Мы, как три друга, носились вперегонки по нашему саду, взбирались к куполу башни, или бежали на бастион, валы. Там мы вдоволь резвились и, весёлые, утомлённые, возвращались домой.

Когда Уляша подросла, физически окрепла, ей вменили разные хозяйственные работы, о которых прежде не имела понятия. Не владея, как следует, русским языком, она, естественно, нарывалась на ругательства, угрозы. Чувствуя себя оскорблённой, Уляша забегала в избу Степана и показывала следы побоев. Старик ласкал Уляшу, вздыхал и шёл к няне. Зачастую затевал с ней ссору, в которую иногда вмешивалась и матушка, оправдывая строгость. Няня торжествовала и продолжала вести свою тактику, приговаривая: «За одного битого двух небитых дают... Она не барышня, а крепостная, такая же, как и мы все».

Во время наших прогулок в поведении Уляши меня иногда удивляло её странное уныние. Порою, когда мы возвращались с вала домой, она, отринув заданную работу, или садилась в угол лицом к стенке, упорно храня молчание, или скрывалась в укромном местечке и там горько плакала.

Вид ли родных гор наводил на неё печаль, или то, что иногда на опушке леса показывались черкесы. Проскачут как бы ненароком по берегу – и были таковы. Уляша, заметив их, зорко следила за ними. А когда всадники исчезали, садилась на землю по-восточному обычаю, устремляла взор вдаль. В такие минуты она уже никаких просьб, никаких уговоров не слышала. Или замирала истуканом, или вдруг затягивала унылую черкесскую песню, напоминающую плач или стон. Окончив петь, тихо, не по-детски, вставала с места, брала меня за руку. Не проронив ни слова, мы возвращались домой, где её ждала работа с криком и бранью.

На первых порах пребывания Уляши в нашем доме матушка держала её за воспитанницу, но потом изменила решение, и Уляша сделалась то ли горничною, то ли подручною няни. Вообще трудно было точно определить, на каком положении находилась у

нас в доме Уляша. Но, как мне казалось и тогда, и впоследствии, на взгляд домашних она в их глазах была не человек, одарённый волей, желаниями и всеми благами природы, а некий автомат, движущийся и исполняющий всё по воле других и по приказанию своей госпожи.

День ото дня всё тяжелей и грустней становилась жизнь Уляши. Хотя матушка моя была очень добрая женщина, но с большими предрассудками и, как вообще большая часть тогдашних помещиц, проникнута особыми понятиями о своих правах над крепостными. Каждый раз, когда мы возвращались с вала, я, при виде слёз Уляши, давала зарок никогда больше не ходить туда; но, при новой просьбе со стороны Уляши, сразу забывала про свои обещания, мы опять бежали на вал.

И вдруг неожиданный случай положил конец нашим любимым прогулкам. Получилось это так.

Однажды, в продолжение всей ночи и утра лил беспробудный дождь. А в полдень небо вдруг прояснилось, показалось солнышко. И хотя «ситничек» всё ещё моросил из маленького облачка, как будто забытого густыми тучами, мы с Уляшей выбежали на балкон, любуясь нитяными капелями, которые в свете солнечных лучей, представляли собою поток сыплющихся во множестве мелких частиц.

Вскоре дождичек иссяк, подул лёгкий ветерок, навеяв приятную прохладу. Воздух был пропитан ароматами свежей зелени и цветов. Дышалось легко и свободно. Нам безотчётно было весело, хорошо. Не боясь промочить ноги, со смехом убежали в сад, в котором насчитывалось до двух тысяч кустов виноградника, несколько беседок, называвшихся «белой», «красной», «синей», в зависимости от цветовой гаммы растений.

Мы скакали по дорожкам, попеременно срывая то сливы, то яблоки, то сочные кисти ягод. Всё это делалось на скорую руку. Зная, что матушка и отец на обеде у коменданта, возвратятся поздно, решили воспользоваться сим моментом и навестить наше укромное место. Добежать до него было делом одной минуты.

Усевшись на лафет, стали оглядывать любимые горы, леса. Уляша, умевшая уже неплохо говорить по-русски, стала рассказывать про свою жизнь, вспоминать подруг, мать, отца, любимого брата, с которым любила ездить верхом в лес. Её воспоминания были так живы, интересны, что мы совсем забыли, что нас могут хватиться, искать. А найдут на валу, всем достанется на орехи за нашу самовольную отлучку.

Но вдруг Уляша оборвала наш говор. Вскочила с места, встала на лафет и во весь рост вытянулась. Тараща глаза от удивления, смотрела вдаль, как бы призывая кого-то.

Я тоже взобралась на лафет около неё, стараясь понять то, что так заинтересовало Уляшу. Хотя противоположный берег был порядочно далёк от нас, всё же сумела рассмотреть, как выехал из кустарников какой-то черкес. По его бравой посадке можно было догадаться, что он молод и статен. Его серая красивая лошадь беспрестанно горячилась: то поднималась на дыбы, то мчалась как вихрь около кустарников, то вдруг, как вкопанная, останавливалась, гордо мотая головой.

Наконец черкес опустил поводья и, облокотившись одною рукою на шею лошади, а другою, подперев бок, тихо, шаг за шагом, направился прямо к крепости. Но, узрев на валу людей, на минуту остановился, приподнялся на стременах так, что пола его чёрной бурки откинулась, открыв зелёный шёлковый чекмень, обшитый серебряным галуном.

Поправив свою баранью папаху, он тряхнул головой, издал какой-то неслыханный для меня, ни прежде, ни после, крик. Уляша вздрогнула, глаза её заискрились, яркий румянец сначала разлился по щекам, потом покрыл лицо и даже шею, – и вопль, чем-то схожий с предыдущим, но только нежный, звонкий, вырвался из её уст в ответ.

Не успела я опомниться и сообразить, что бы это значило, как раздался выстрел. Я оглянулась. Часовой, наскоро перезарядив ружьё, уже вторично целился в черкеса, стоявшего совершенно спокойно и не сводившего с нас глаз. Я попыталась было крикнуть и остановить часового, но он, словно ничего не понимая, кроме того, что на берегу стоит не мирный черкес, которому не следует давать пощады, выстрелил вторично. Дым рассеялся – черкес, оставшийся невредимым, поднял высоко нагайку, гикнул и стрелой полетел к лесу.

– Брат! – крикнула Уляша, протянув руки вслед удалявшемуся черкесу.

Но, когда тот скрылся неизвестно куда, бросилась на землю и громко заплакала, произнося какие-то нежные слова. Оленка, как будто разумея отчаяние своей хозяйки, вертелась около неё и жалобно блеяла. Не поддаваясь никаким моим уговорам, Уляша билась головой о землю и продолжала рыдать.

Я потеряла всякую надежду убедить её и успокоить. Боясь, что нас хватятся дома, пошлют искать и последует неотвратимое наказание – запрут в мазанке, навели на меня такой ужас, что тоже принялась плакать и звать на помощь часовых. С большим трудом мы наконец-то успокоили Уляшу.

Но, придя домой, тут же, куда-то скрылась. Хватились её лишь тогда, когда заметили, что я хожу как не своя, боясь рассказать обо всём случившимся. Только после долгих поисков нашли Уляшу в углу чердака в совершенно бесчувственном состоянии.

Ночью у неё поднялся сильный жар, она впала в бред: звала брата и плакала. А наутро доктор объявил, что у неё горячка. Её перевели в избу к Степану, поручив полный надзор. И надо было видеть, с какой любовью и заботливостью он ухаживал за нею.

Все вдруг почувствовали жалость к этому безропотному ребёнку, который находился на краю могилы. Матушка охала, боясь потерять её и не подозревая настоящей причины болезни. Я же упорно молчала в надежде, что эту причину никогда не узнают.

Но каков же был мой испуг, когда спустя два дня отцу вдруг доложили, что приехал какой-то черкес для переговоров. Он наскоро собрался и ушёл. Вернулся назад часа через два, с бледным лицом, подвязанною рукою. С матушкой чуть было не сделалось плохо. Но отец вовремя успокоил её, говоря в шутку, что после того, как она надела на его шею мусульманский талисман, он ничего не боится.

– Дело простое и ясное, – сказал отец. – Это приезжал брат Уляши, который дня два тому назад обнаружил её на валу с нашей егозой.

От испуга у меня потемнело в глазах и ноги начали дрожать. Я тут же присела на стул, старалась казаться спокойной.

– Он даже предлагал сто червонцев за свою сестру. Но когда узнал, что она крещёная, пришёл в такую ярость, что если бы нас не разделяла железная решётка дворика, задушил бы меня руками. На прощание вскрикнул: «Попомните меня!», и выпустил свинчатку. К счастью, пуля, задев ограждение, попала в мою руку рикошетом и слегка царапнула. Пришлось заехать в госпиталь к Францу Ивановичу на перевязку.

Матушка охала, стонала, предрекая много бед через Уляшу. Каялась, что поспешила её окрестить.

– А с тобою, деточка, надо посчитаться, – заговорил отец, обращаясь ко мне. – Как только рука заживёт, я тебя сам кое-чем угощу.

Я помертвела, хотя знала, что угроза только на словах.

Весь остаток дня отец был не в духе. Навещал Уляшу, отдавал какие-то приказания Степану, пугал: «Смотри, седой, не сумеем доглядеть её – умрёт. Тогда и тебе не сдобровать!»

Степан кланялся, обещал денно и ночью смотреть за больной.

В тот день всем перепало на орехи: портному Игнату, повару, конюху. Досталось и старой няне, что плохо смотрела за нами. Афимья божилась, клялась, что не виновата, и, видя, что божба не действует, стала отрещиваться и отплёвываться. Словом, отец ходил по дому, двору и разносил бурю страстей. Все прятались и убегали, куда попало, лишь бы не попасть ему на глаза.

Вечером урядник доложил, что наутро пойдёт обоз за дровами и надо кого-то из домашних отрядить в дело. Прежде эти обязанности лежали на евнухах. Теперь отец назначил Игната, желая ему досадить за провинность.

Группа повозок обычно охранялась отрядом казаков с полевым орудием. Но конвой не всегда справлялся с черкесами, которые атаковали обозников, брали людей в плен, а скот угоняли в аулы...

Но всего более разбойники любили налетать на поселения со ссыльным людом, пугавшимся горных разбойников. В виду этого из Анапы посылались солдаты, которые отгоняли черкесов. На саму же крепость боевики побаивались нападать, а любили только джигитовать у её стен, постреливать да гикать. Для наших же офицеров всякая экспедиция служила развлечением, так как однообразная жизнь в крепости давно наскучила.

Итак, обоз наш уехал и должен был возвратиться к вечеру того же дня. Час урочный прошёл, а подвод и людей не было. Все в крепости насторожились. Когда стукнуло восемь, забеспокоился и отец. На ту пору у нас были гости. Только сели они за карты, явился урядник, с которым был отправлен обоз, и прерывающимся голосом объявил, что Игнат пропал.

Отец круто повернулся на стуле, встал и быстро подошел к казаку. Он стоял как вкопанный. Зная запальчивость отца, все офицеры тоже подошли к нему, желая узнать, как и где пропал наш портной.

Как выяснилось, во время отдыха Игнат прилёг под кустом. Когда же отдых кончился, и рог позвал к сбору, – найти его нигде не могли. Дольше оставаться в лесу побоялись и приехали домой без Игната.

Отец кричал на урядника, обещал сослать его в арестантские роты. И неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы не вступились офицеры.

Наутро вышел приказ о вызове переговорщиков из ближайших аулов.

Через день они явились в назначенный час. Их было пятеро человек, все как будто на подбор, один другого краше. А ещё толмач из армян, средних лет, с плутовским лицом, хитрой улыбкой, не сходившей с губ. К сожалению, одет был бедно и грязно. Неопределённо-го цвета платок, замотанный вокруг шеи, придавал всей его фигуре какой-то отчаянный вид.

Сначала они утверждали, что даже не видали нашего Игната. Но вскоре обещали его привести, если отец даст им сто червонцев.

– Двадцать, – сказал отец.

– Сто, – проговорил самый старший из них.

– Двадцать, – снова повторил отец.

Черкесы стали между собой совещаться.

– Он сам не идёт домой, – спустя минуту молвил толмач.

– Не может быть – они врут! – возмутился отец.

– Пойди, убедись сам. Он там, на берегу.

Отец поспешил на вал и увидел, что по противоположному берегу действительно ехал Игнат; на нём был белый китель, в каком он ушёл из дому. Рядом с ним стоял черкес, державший за повод его лошадь.

Отец сделал рупор из ладоней и закричал:

– Игнат, подъезжай сюда!

Услышав слова отца, портной приподнялся на стременах. Сняв шапку, помахал ею в воздухе, поклонился и вместе с черкесом поскакал к лесу.

– Стреляй в него, стреляй! – не помня себя, закричал отец часовым.

Двое из них прицелились.

– Пли! – скомандовал отец.

Раздались выстрелы, рассеялся дым, и мы увидели около опушки леса спокойно стоящего черкеса и Игната, махающего шапкой.

– Пять червонцев дам тому, кто повалит мне его!.. Живо, стреляй! – громко и хрипло кричал отец.

Часовые опять прицелились. Руки их дрожали, и расстояние, вероятно, мешало. Они опять сделали промах. Игнат с черкесом укрылись в лесу.

– Виноваты-с, ваше благородие, – проговорили в голос часовые.

– В карцер, на хлеб и на воду! Марш!.. – сказал отец.

И, отдав приказание уряднику, стоявшему около него, торопливо сошёл с вала. Я, естественно, побежала за ним.

Едва только заметили домашние, что отец не в духе возвратился домой, все как в воду канули, боясь показаться ему на глаза. Матушка притихла, творя про себя молитву. Детей, от греха подальше, убрали в детскую.

Как мне теперь вспоминается, самое невыносимое и тягостное время в нашем доме было тогда, когда отец не в духе. Всё как-то притихало, удручалось, ходило на цыпочках, говорилось шёпотом, чуть не мимикой. В эти часы у всех домашних как будто вытягивались лица, а Авдотья Никитична даже как-то особенно сжимала свои губы, изображая с помощью их преуморительную гримасу, на которую нельзя было смотреть без смеха.

Но на этот раз, благодаря полковому священнику и одной полковой даме, которые в это время были у нас, всё сходило с рук. Отец рассказывал им в подробностях про Игната, горячился немного и спустя час уже сидел со священником за зелёным столом.

Впоследствии наши казаки рассказывали, как Игнат вместе с братом Уляши делал набеги на наши станицы и обозы. Не раз казаки беседовали с ним. Он охотно говорил о своём житье-бытие. Ему дали две жены и хорошее хозяйство.

– Что же ты его на месте не пристукнул? Или у тебя зарядов не хватило? – спрашивал отец казака, передавшего ему вести об Игнате.

– Виноват-с, ваше благородие.

– Нет, ты мне скажи, почему ты его, паршивца, не пристрелил, ведь он теперь такой же черкес, как и все неверные, да ещё хуже – он перебежчик?!

Казаки не отвечали.

– Ну, что мнёшься? Если бы ты встретился ему один на один в каком-нибудь ущелье, он бы убил тебя как собаку. А ты?

– Виноват-с, ваше благородие, пожалел бы. Ведь свой, русский.

– Ну, а если бы вместо него стоял черкес, чтобы ты тогда сделал с ним?

– Убил бы, ваше благородие.

Отец обругал казака и прогнал от себя.

Глава II

Жизнь в крепости, без набегов и экспедиций, казалась очень скучной и однообразной. С утра и до обеда все заняты своими делами, домашними и служебными, а вечером собирались где-нибудь в одном доме. Офицеры садились играть: кто в карты, кто на бильярде; дамы – лакомиться и вести пересуды, рассказывать и толковать сны. А мы с Уляшей убегали в сад или на вал, взяв с собой нашего друга Оленку. В эти свободные часы были совершенно счастливы. К Уляше возвращалась природная весёлость. Вся её фигурка как будто перерождалась, дышала энергией. Глаза блестели, а бледные щёчки покрывались ярким румянцем. Она бегала, смеялась, всюду увлекая за собою меня и нашу Оленку, которая росла быстро и сделалась красивым животным с ветвистыми рогами.

И вот, среди такого-то веселья, на Уляшу иногда нападала тоска. Она вдруг замолкала, садилась на траву, поджимая под себя ноги, и затягивала черкесскую песню. И так бывало, запоёт, будто не она это делает, а стонет и плачет её душа. В такие минуты забудешь про игру. Сидишь неподвижно до тех пор, пока не умолкнут чудные звуки. Глянешь, а по личику-то её быстро-быстро льются слёзы.

В это время и Оленка тоже притихала. Поджав под себя свои тоненькие ножки, лежала около Уляши, положив свою красивую мордочку на её колени, как будто прислушиваясь к родному напеву. Несмотря на то, что каждое слово, каждое движение было парализовано и подавлено безнаказанным самоуправством, Уляша росла, хорошела и приводила всех в восторг своей красотой.

Входила в рост и силу Оленка. Проказам её не было конца. Бывало, сидишь утром у окна в столовой и пьёшь чай; подойдёт Оленка, положит на подоконник красивую мордочку и смотрит в комнату умными глазками. Так вот и думаешь: сейчас наша Оленка

возьмёт да вдруг и заговорит; дашь ей сухарик или лепёшку – она и пойдёт от окна. Всё ей было нипочём. В одно мгновение, поджавши свои тонкие ножки, могла перепрыгнуть канавку саженей в две или больше; или взобраться на нашу башню, поблеять, как будто давая знать, что она здесь, и так же быстро сбежать оттуда. Или прибежать на вал и своими рогами пободать часовых и опять убежать домой, как ни в чём не бывало. А ещё ей нравилось бегать за отцом. Как только выведут из конюшни его серую лошадь, на которой обыкновенно ездил на учење, Оленка уже тут как тут. Прискочит первая на учење, станет рядом с барабанщиком и идёт с ним. Сначала солдаты гоняли её от себя, но потом понемногу привыкли так, что даже прозвище ей дали. И стала Оленка общей любимицей по кличке «наш капрал», пока не начала проказить так, что наказывали за неё солдат.

А ещё она повадилась бегать поздно вечером со двора и скусывать печати с дверей цейхгауза. Никто даже не мог заподозрить, что это проказила Оленка. Увеличили караул, но вора не поймали. Все терялись в догадках, для чего и кому нужны были печати, когда не отворялись двери цейхгауза. Думали, что это своего рода уловка, и потому часовых сильно наказывали и выставляли двойную стражу.

Однажды вечером, когда мы своей семьёй сидели в саду, двое казаков привели Оленку как пойманного вора, срывавшего печати. Отец разразился недоверчивым смехом. Тем не менее, приказал запереть её в мазанку и не выпускать дня два, чтобы удостовериться в справедливости возведённого на неё обвинения. Оленку посадили под замок, а Уляша вся в слезах убежала на чердак.

На другой день, рано утром, я была разбужена страшным криком отца. Несмотря на то, что Оленка была взаперти, печати были сорваны. В результате двух часовых и урядника опять строго наказали.

После обеда матушка с отцом ушли к комендантше, а я решила позвать Уляшу на прогулку. Оббежав все наши укромные места, и не найдя её нигде, по дороге к дому вдруг заметила приотворённую дверь мазанки, где была заперта попавшая под подозрение. Толкнув дверь ногой, я вошла в хлев, где на полу лежала Оленка, обложенная душистою травой и, объятая руками Уляши.

– Что ты тут делаешь? Пойдём играть, дома никого нет, – сказала я ей.

– Ни, – отвечала она грустным голосом. – Если не отец, то казаки убьют Оленку.

– За что же они её убьют, если не она рвала печати?

– Она! – отрывисто и уверенно сказала Уляша.

– Как?! Ведь она была заперта?

Вместо ответа Уляша показала пальцем в угол хлева.

Я обернулась: на полу валялся поварской нож и сломанный замок.

– Зачем ты это сделала? – сказала я. – Ведь отец наказал опять часовых и урядника.

Уляша упорно молчала. Оленка брезгливо перебирала душистую траву, лежащую под её мордой. И я ушла не солоно хлебавши.

По возвращении матушки с отцом Оленка была выпущена на свободу.

Я не сказала ни словечка, боясь гнева отца, тем более, что уже часовые были наказаны. Уляша была в восторге. Цветами убрала она рога Оленки, Безудержно скакала, играла с ней. На брань и крики няни проворно прибежала и, выполнив свою работу, тут же убиралась к Оленке.

Дня через два у нас было много гостей. Играли в карты на балконе, потому что вечер был так хорош и тих, что свечи горели, как в комнате. На лужайке в саду был приготовлен чай. Мы с Уляшей, вооруженные большими ножницами и корзинками, резали виноград. Кто-то из дома позвал Уляшу. Поставив корзину на землю, она поспешила на зов. Но не прошло и минуты, раздался истошный вопль Уляши, а вслед затем громкие голоса дворовых.

Мы все побежали к дому. Возле крыльца, обступленного мужчинами, на земле лежала Оленка. Время от времени распростертое туловище её вздрагивало, из виска струей текла кровь.

Обхватив обеими руками шею Оленки, Уляша громко плакала, целуя и называя ласковыми именами. Но полузакрытые зрачки глаз животного были неподвижны.

Тут же понуро стояли двое казаков с винтовками в руках.

– Кто посмел её убить? – спросил отец.

– Виноваты-с, ваше благородие, – ответили разом часовые, прежде наказанные за печати.

Один из них стал рассказать, как прибежала Оленка, «сорвала все сургучки» и умчалась домой; догнать её не мог, из желания напугать, выстрелил для острастки, но «пуля дура» убила её.

Окончив рассказ, казак пал на колени, прося прощение.

Отец побранил обоих за самоуправство и отправил в карцер на хлеб и на воду. Уляшу же едва оттащили от мёртвой животинки, которую на утро зарыли в поле около колодца.

Долго не могла забыть Уляша свою Оленку. С ней вместе она схоронила последнее, что только могло напоминать её родное, навсегда оставленное гнездо. Занятая работою с утра до ночи, выслушивая брань и крики старухи, а иногда и матушки, молчаливо и безропотно переносила всё. Покорная, кроткая, она вызывала жалость у комендантши, которая не раз говаривала матушке, что Уляша достойна лучшей участи. Даже как-то попросила уступить ей Уляшу.

После этого разговора матушка тотчас же изменила своё обращение с Уляшей: ласкала, не позволяла кричать на неё старухе и даже избавила от некоторых тяжёлых работ. Уляша разом ожила, на лице её начала показываться улыбка. Но, к несчастью нашему, подобное обращение с Уляшей, не долго тянулось. Мало-помалу прежнее обращение, прежний педантизм начали снова входить в свои права, и опять брала верх безотрадная, удручённая жизнь.

Иногда, видя притеснения со стороны пожилой няни, я жаловалась матушке, напоминая ей при этом взгляды комендантши. Она, конечно же, сердилась и, порядком побранив меня, повторяла:

– Я не глупей твоей комендантши. В чужой монастырь со своим уставом не суйся.

В сущности же, матушка была очень добрая женщина. Но доброта эта была иногда проявляема странными явлениями. Отец же ни во что не вмешивался, предоставив ей раз и навсегда все бразды правления. Да и некогда ему было заниматься какими бы то ни было домашними делами, и не любил он никакие семейные дразги. Все расправы, все мелкие, гнетущие притеснения производились без него, зная, что он самый ревностный заступник Уляши.

Время тянулось своим чередом. Наступила зима. Разнообразия никакого. Хандра, скука, карты, сплетни, толкования снов – вот всё, чем наполнялась жизнь наша. Офицеры почти целые дни проводили у нас, вертясь около Уляши. Домашние не придавали этому никакого значения.

Я была ещё слишком мала, а на Уляшу заглядывались какими-то любопытными глазами. Не любила Уляша, когда нас обступали офицеры, шутили с ней и старались один перед другим угодить чем-нибудь. Она всегда отмалчивалась или совсем уходила от них. Она рассказывала мне про своих бывших подруг, об их играх, разных проделках, про свою вольную, беззаботную жизнь. Воспоминания эти оживляли её. Глаза блестели, личико разгоралось, всё тело как-то преображалась, делалось подвижным. В эти минуты она была особенно хороша.

Наконец скучная зима прошла, наступило превосходное лето.

К нам приехал казак из ближайшей станицы – звать нас к себе в гости. Может быть, и на этот раз, как и прежде, матушка отказалась бы от приглашения, но тут был отец и разом всё решил, даже назначил день, в который мы приедем. Делать было нечего, матушка согласилась. Я в восторге побежала к Уляше и рассказала о предстоящем удовольствии. И, к довершению всего, отец назначил нам в провожатые нашего друга Чекалова.

Мы сгорали нетерпением в ожидании этого радостного для нас дня, готовя свои наряды.

Наконец желанная пора настала. День был июльский – прекрасный во всём блеске, и мы ранним утром в сопровождении десяти вооруженных казаков и молодого офицера Дмитрия Степановича Чекалова, выехали из крепости в уродливой большой бричке, вроде Ноева ковчега, нагруженного сверху донизу подушками, узлами, детьми и няньками. Там же помещались и мы с Уляшей и матушкой. Возня, писк детей, воркотня старухи няни и наш смех с Уляшей иногда выводили матушку из терпения; она начинала раскаиваться, что уступила просьбам казака. Но в это время наш друг являлся к нам на выручку, подъезжал к дверям нашего ковчега и начинал смешить матушку. Ворчанье сразу прекращалось, и мы благословляли нашего друга.

Наконец часа через четыре мы въехали в казачью станицу и остановились у крыльца большой, чистой хаты, вымазанной глиной и выбеленной. Завидев нас издали, всё семейство казака высыпало на улицу. Радость встречи была неимоверная. Семейство состояло из высокого, с широкой грудью старого казака Чубаря с открытым лицом, обрамлённым совершенно седыми баками, и с длинными усами, с густыми седыми нависшими бровями, из-под которых выглядывали серые добродушные глаза; из жены Катерины, толстой и, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, всё ещё красивой; из двух милостивых дочерей и высокого, в плечах кося сажень, сына Остапа со смазливой рожцей и наглым выражением.

Едва только мы выгрузились из нашего ковчега, расцеловались с хозяевами, как Остап уставился на Уляшу. И вдруг отрывисто и скоро спросил по-черкесски:

– Ты из черкешенок?

Уляша вздернула плечами. Остап лукаво улыбнулся и скоро незаметно для всех скрылся. Чубар оглянулся, ища глазами Остапа, но, не найдя его в кругу всех, что-то сердито проворчал про себя, следуя за ними в хату. Хата была чистая, просторная. Хозяйские дочери уже суетились в ней, готовя закуску. Чего только не наставили они на стол, каких только не было там закусок и фруктов сушеных и свежих. Чубар и Катерина, кланяясь в пояс, принялись нас угощать. Матушка заставила их всех сесть вместе за один стол, и трапеза началась.

День был праздничный. Все девушки в своих праздничных нарядах с парубками водили хороводы. Пение, смех, игра на гармонии раздавались на улице в нескольких местах. Мы с Уляшей ждали с нетерпением, когда кончится эта скучная закуска и хозяйские дочери будут свободны, чтобы проводить нас в хороводы. Наконец матушка это заметила и отпустила с Богом, прося хозяйских дочерей «приглядывать» за нами.

Мы пошли к хороводу. Расфранченные девушки с румяными, пышущими здоровьем лицами, казались одна другой краше. Но Уляша, как мне представлялось, интереснее всех. Чекалов был тоже с нами. Положив руку на плечо бойкой чернобровой казачке-запевале, начал подпевать, пристукивая каблуками. Девушки лукаво переглянулись, обступили молодого офицера, тормоза со всех сторон. Наконец, одна из них вырвалась из круга, побежала вдоль улицы. Дмитрий Степанович, естественно, кинулся за ней.

Когда он скрылся в воротах одной чистой хаты, мы с Уляшей пошли домой.

В избу входить не хотелось, там было душно. Мы сели на приступок крыльца. Уляша была грустна и молчалива. Так сидели мы долго. Я от нечего делать стала рассматривать большой двор. Всё в нём было вычищено и приставлено к месту; но, несмотря на это, общий вид двора представлял склад нужной и ненужной домашней рухляди. Под длинным навесом к одной стороне в груду навалены были разные обломки от колёс телеги, далее – новые и старые арбы, а там к забору приставлены новые колёса, смазанные дёгтем; тут же валялся топор около связки дров; лопатка, грабли, метла – чинно стояли, прислонены к стене. На протянутой верёвке висели широкие шальвары, рубаха, два или три полотенца и ещё какие-то тряпки. В конце навеса привязанные к колоде лошади жевали овёс. В центре двора величественно стоял наш кожаный ковчег; около него

бродили десятка два кур, несколько индюшек, гусей и посреди них важно прохаживался и беспрестанно брюзжал величественный индюк. Около него с большим красным хохлом важно расхаживал петух. Но вдруг вся эта разношерстная стая громко закудаhtала, забила крылами и бросилась врассыпную.

– Ух! Как устал, – проговорил Чекалов, и с размаха запрыгнув на приступок крыльца, сорвал с головы фуражку. – Черт знает, какие прыткие эти казачки! Едва догнал в снях! Хорошо, что стариков не было, а то, пожалуй, досталось бы на орехи, – и стал платком вытирать пот, катившийся с его лица.

– Это вы взбудоражили кур? – спросила я его.

– А ну их к черту! – засмеялся он. – Не я их пугал, они сами всполошились.

В это время из хаты раздался голос матушки, звавшей нас пробовать молодое вино. Я первая встала, чтобы идти. Поднялась и Уляша. Но Чекалов, не стесняясь меня, проворно схватил руку Уляши и сказал:

– Подожди, Уляша. Посиди тут, видишь, как хорошо! Пусть Вера идёт одна.

Но Уляша вырвала свою руку и пошла за мной.

Вскоре вслед за нами вошёл и Чекалов. Хозяин принёс флягу свежего красного вина и стал нас угощать. Напиток действительно был прекрасен, ароматичен. Молодой офицер пил стакан за стаканом, так что матушка забеспокоилась, что наш проводник опьянеет и в случае опасности не сможет нас защитить. С шутками и прибаутками она убрала вино. Чекалов смеялся, рассказывал ей про казачек, как он их пугал в хороводе.

Хозяйские дочери вернулись с гулянки, и принялись накрывать стол. Вскоре был подан обед – жирный, вкусный, с множеством заливок и заедок. Матушка пригласила вместе с нами отведать и всю семью казака, который сначала долго отнекивался, стоя у порога и кланяясь. Но мы все решительно объявили ему своё желание.

После обеда Чекалов был весел, шутил, и когда мы опять с хозяйскими дочерьми пошли к хороводу, он вбежал в круг нарядных девушек и крикнул:

– Ну, девчата, которая из вас даст мне груш?

Девушки залились веселым смехом, подталкивая одна другую, разом несколько голосов ответили:

– Ну, полезай сам и бери, сколько надобно! – заговорили они, подставляя свои пазухи, наполненные грушами и тыквенными семечками.

Чекалов бесцеремонно запустил руку за ворот чернобровой казачки.

– Ну, тебя! – через минуту кричала казачка, толкая локтем в грудь Чекалова и в то же время звонко смеясь.

– Подожди же, дай выбрать груши, которые лучше, – говорил он.

– Тащите его, девчата, тащите! – кричало несколько голосов.

Все девушки разом обступили Чекалова и чернобровую казачку. Поднялась возня, смех, визг. Парни стояли в стороне и хмурились; некоторые издали смотрели на толпу девушек, окруживших молодого офицера.

Уляша дёрнула меня за рукав. Мы отошли от хоровода, и двинулись вдоль улицы, мимо белых, опрятных хат. Пожилые казаки и казачки чинно сидели на скамейках около своих хат и вели разговоры. Когда мы поравнялись с ними, они вставали и ласково, приветливо нам кланялись. Весёлые голоса девчат доносились до нас, и среди этого смеха громче всех выделялся голос Дмитрия Степановича Чекалова.

Небо начинало хмуриться. Из-за гор медленно, как стена, напозла черная туча и постепенно застилала собою чистое небо. Не обращая внимания на тёмное густое облако, мы, молча и тихо, двигались вперёд. Дойдя до конца станицы, заметили около крайней хаты, обнесённой плетнём со стороны поля, несколько валявшихся обгорелых пней. Усевшись на них, стали любоваться видами, представившимися нашим глазам: широкими, привольными лугами с пасущимся скотом, мелким кустарником, сливавшимся с высоким лесом, горами, у подошв которых лепились сакли мирных черкесов. Вся эта яркая картина, – с одной стороны освещённая лучами заходящего солнца, с другой, закрытая наплывшей

чёрной тучей, отбрасывающей мрачную тень на землю, – предстала перед нами во всей красе. Она была настолько хороша, что не хотелось ни слушать, ни говорить, а только любоваться красотой пейзажа.

Скоро солнышко совсем спряталось за высокой горой. С поля медленно потянулись бродящие стада. В саклях, как звездочки, замелькали огоньки. Где-то далеко, у самого леса, раздались гортанные звуки. Ветерок, гнавший тучу, отчетливо донес к нам мотив черкесской песни, в которой иногда можно было разобрать слова. Уляша, положив голову на скрещенные руки, сидела, вся замороженная мелодией.

Наконец голос певца стал обрываться и вскоре вовсе умолк.

Уляша встрепенулась, тяжело вздохнула и, спустя минуту, как бы вторя прерванной мелодике, запела. Её песня, то тихая и грустная, временами доходящая почти до шёпота, то живая и веселая, пульсирующая молодой, свежей жизнью, полной разгула, то вдруг опять надрывная, переходящая в тоскливый напев, – терзала наши души.

Не знаю, долго ли бы мы так просидели, но стал накрапывать мелкий дождик и вдали загредел гром. Мы вскочили с мест, заволновались – грозовая туча висела над нашими головами. Тени, как длинные чёрные великаны, выросли перед нами от хат и деревьев. На улице ни души, народ попрятался в свои хаты. Во всех окнах замелькали огоньки. В конце станицы раздался какой-то шум, переходящий в завывающие звуки, но тот час же, смолк. И опять – тишина, беспросветный мрак.

Мне стало жутковато. Я начала поторапливать Уляшу, которая сама раскаивалась, что так долго засиделись. Мы понеслись бегом. Вдруг невдалеке от нас залаяла собака. Со стороны поля послышался конский топот, и скоро, как будто над самым нашим ухом, раздался сдержанный голос, произнёсший какие-то отрывочные слова.

Мы обе вздрогнули и оглянулись. Вблизи никого не было видно, а присмотревшись к темноте, узрели, как из-за угла хаты отделилась черная тень верхом на лошади. Тень на минуту приостановилась, как бы прислушиваясь к чему-то, потом проворно соскочила с лошади и, приблизившись к стене, два раза ударила в ладоши.

Не помня себя от страха, мы прижались к углу хаты, за которой нас нельзя было увидеть. Вскоре щелкнула калитка, и маленькая, лёгкая тень одним прыжком очутилась около высокой фигуры, вызывавшей её.

– Это ты, любушка Остап, – проговорил тихо и нежно женский голос.

– Я, я, моя коханочка, я, – отвечал грубый голос Остапа, обнявшего и привлёкшего к себе девушку.

– Где ты пропадал весь день? Али я тебе вдруг стала не любя, как приехала та чернобровая дивчина с панной офицершей?

– Не любя? – И Остап сдержанно засмеялся. – Не родилась ещё на свет та дивчина, которая была бы для меня лучше моей коханочки. – И он звонко чмокнул, целуя девушку. Та засмеялась.

– А пропадал я потому, – продолжал Остап, – что ездил к кунаку. Нынче ночью за ту чернобровую дивчину получу калым, а завтра нагряну к твоему отцу за тобой. Готовься же, мое серденько.

В это время невдалеке раздался протяжный свист. Мы с Уляшей вздрогнули, крепко прижались друг к другу, боясь обнаружить своё присутствие.

– Ну, прощай, моё солнышко, – заговорил Остап, целуя девушку. – Прощай, моя любя! Вон зовет меня он... – И с этими словами проворно вскочил на лошадь и, свистнув протяжно, скрылся за хатой.

Калитка щелкнула и скрыла за собой девушку. Оглядевшись кругом и удостоверившись, что никого нет поблизости, мы, что было силы, бросились бежать и, едва переводя дух, ворвались в хату. Не заметив, в каком находимся состоянии, матушка и нянька замахали на нас руками, чтобы не шумели, так как укачивали маленького братишку.

Мы хотели матушке рассказать всё, что видели и слышали, но она, сделав нам выговор, что так долго гуляли, прогнала в другую хату, обещаясь выслушать, как только

уложит детей спать. Уляша не хотела идти к хозяйским дочерям, да и меня без неё не тянуло к ним.

Мы вышли на крыльцо. Ночь была совершенно тёмная, лишь с одной стороны маленький клочок неба ещё был усеян звёздами, а воздух спёртый, душный, шёл маленький дождик. Мы сели на крыльцо. При общей тишине нам отчётливо слышался храп спавших казаков под навесом и по временам фыркание лошадей, привязанных у колоды.

Едва мы успели сесть на приступок, как одна из звёздочек упала и мелкими искрами рассыпалась во мраке. В то же время, как будто спугнутая с места, прокричала птица.

– Где это? – утишая дыхание, спросила я Уляшу.

– Наверное, в лесу. Это ночник дерёт горло. Он чует мёртвого или предвещает кому-то горе. А вон звёздочка упала – умрёт кто-то.

– А ты откуда знаешь?

– Примета есть такая.

Я знала, что черкешенки – народ весьма суеверный и всякому явлению природы придают особое значение. Но только я хотела кое о чём расспросить её, как раздались шаги и шелест щепы, валявшейся под навесом. Мы обе оглянулись и стали прислушиваться к темноте. Через минуту увидели, как высокая тень, тихо крадучись, пробирается вдоль забора со стороны поля. Мы прижались друг к другу и не сводили глаз с приведения, которое застыло на месте. И тут в моей голове всплыли слова Остапа. Я встревожилась: «Уж не хотят ли они выкрасть Уляшу?» Шепотом сказала об этом ей, но она, умеряя дыхание, тихо и твердо проговорила:

– Не бойся, посмотрим, кто это.

У меня мигом страх улетучился; мы продолжали наблюдать.

Так прошло, я думаю, не более минуты. Как вдруг раздался выстрел – один, другой, и чёрная тень, как кошка, бросилась под навес. В одно мгновение были разбужены наши казаки. Вскочив на неосёдланных лошадей, выехали из ворот.

Мы вбежали в хату. И на этот раз, несмотря на размахивания руками пожилой няни, сбивчиво рассказали обо всём, что видели и слышали в последний час.

За нами следом впорхнули хозяйские дочери, крича, что около огорода и двора черкесы. Чубар, сидя рядом с матушкой, быстро встал, сдёрнул со стены винтовку, шашку и торопливо вышел из хаты.

Матушка, бледная и перепуганная, захохла, застонала и заметалась по комнате. Катерина успокаивала её. Няня с детьми, которых мы разбудили своим говором, ворчала, божилась, что это, верно, брат Уляши со своими товарищами и Игнатом, узнал, что сестра его тут. Матушка тотчас же согласилась с мнением няни, и град брани посыпался на голову ни в чём не повинной Уляши. За воплями детей и взрослых мы едва слышали сдавленный крик в сенях.

– Эй, женщины! Или кто там, отворите скорей! – умолял Чубар.

Все разом бросились к дверям. Чубар, пригибаясь, ввёл офицера Чекалова, который, опираясь всем своим туловищем на мощные руки казака, волочил по полу правую ногу, оставляя за собой кровавый след.

Матушка ахнула, всплеснув руками, подбежала к Чекалову. Его тотчас же уложили на подушки. Катерина и матушка засуетились, наклонившись над раненым. Он был бледен, но старался сохранять спокойствие и даже пытался осмотреть ногу. Рана повыше колена, по словам Чубара, была довольно глубокая, сильно кровоточила.

– Ну, скорей перевязывай! – сердито кричал Чубар жене. – Не то много крови потеряет... А ты, пан офицер, лежи смирно – всё пройдёт. Ишь ты, проклятый, как царапнул. Но и злыдню досталось на орехи! Я показал ему, собачьему сыну, как дружбу водить с этими горными черкесами, калым собирать. – И сердито добавил: – Надолго запомнит.

– Что, что ты сделал с Остапом? – вдруг испуганно спросила его Катерина, оторвавшись от своего дела.

– Что?! – сурово протянул Чубар, взглянув на жену и хватаясь одною рукою за рукоять плети, висевшей у него за поясом, а другою, поддерживая больного.

– Оставь, Чубар, оставь, – заговорил Чекалов, – не смей её трогать, а то, брат, тогда и я с тобой померяюсь силою.

– Так пусть же помолчит!

Катерина притихла. Торопливо перевязав рану Чекалова, с головою наклонённой вышла из хаты. Остап у неё был единственный сын и любимец, как мы узнали после.

Когда Чекалов успокоился, рассказал нам, что Остап был кунаком брата Уляши. И как только узнал о приезде Уляши, ускакал в горы и договорился за хороший калым в эту же ночь выкрасть её и передать брату. Он со своими товарищами поджидал их за забором хаты Чубара. Но карты спутал Чекалов. Когда он, отдыхая в бричке, совершенно случайно услышал их разговор, напал на них со своими казаками и отогнал. Хотя сам порядком пострадал, но двоих ранил выстрелом из револьвера.

– Жаль, что меня с вами не оказалось. Не ускользнул бы он живым, – горячился Чубар. И тут же принялся рассказывать про свои удалые схватки с черкесами.

В станице медицинского пункта не было, а знахарок Чекалов не хотел допускать к себе. К утру, его нога сильно распухла и стала причинять невероятную боль.

Матушка, не впадая в отчаяние, заторопилась в Анапу и забрала его с собой. Таким образом, вместо нескольких дней мы прогостили у Чубара только один, и то с приключением.

Недели две пролежал в госпитале Чекалов, а когда вышел, то любил подтрунивать над Уляшей, называя себя её ангелом-хранителем.

– Если бы не я, давно бы тебе была секир-башка, – говорил он, окидывая черкешенку нежным взглядом.

После нашего возвращения домой не проходило дня, чтобы не поступали жалобы отцу на злодеяния черкесов: о нападении на обозы и убийстве людей, об угонах скота и разорении станиц, о сжигании гумён и мельниц. Но более всех пострадал Чубар: хату разорили, площадку для молотыбы уничтожили, скотину увели. Одним словом, отовсюду шли стоны и жалобы. В крепости всё чаще стали поговаривать об усмирении черкесов, назначении экспедиции.

Глава III

Естественно, и на сердечном фронте были свои победы и поражения.

Для всех в Анапе, как снег на голову, явилась увлеченность Чекалова Уляшей. Одни удивлялись, что нашёл в ней свой идеал, другие подтрунивали над молодым офицером, а третьи, как няня, ругала воспитанницу. В результате, Дмитрий Степанович явился к моим родителям и объявил о своём намерении жениться на приёмной дочери.

Отец с матушкой, шокированные таким поворотом дела, отказали Чекалову в притязании на руку и сердце воспитанницы, а Уляше пригрозили, что доведут до сведения брата. Думали, что всё само собой рассосётся. Ан-нет! Чекалов хоть и перестал у нас бывать, мечту свою не оставил.

Но когда мы все собрались у Несвицких, вдруг нагрянул. И вот что интересно: хотя с лица, подёрнутого чернотой, спал, но стремился казаться весёлым, говорливым.

– Посмотрите, на нашего Дмитрия Степановича. Прежде зверем глядел, а нынче духом воспрял.

– И сад загорожен, и зверь сбережён.

– А то! Нечего из-за девицы убиваться. Вон сколько: выбирай, не хочю.

– Орёл всегда найдёт себе достойную пару.

– А я думаю, что он надломлен. Мне об этом вчера толковал Кулаков. Шерше ля фам – ищите женщину; везде и во всём она виновата и замешана, – шутил доктор. – Ну, вот и не в духе – лихорадочное волнение.

Доктор подошёл к Чекалову, одной рукой обнял его за талию, а другою взял за пульс. Тот засмеялся.

– Вы, бесценный Карл Иванович, думаете, что я с ума сошёл, что ли? Что вам там наговорил Кулаков?

– Нет, Боже упаси! У вас просто лихорадочка, а Кулаков мне ни словечка не молвил.

– Эх, пустяки! В каком бы я теперь состоянии ни находился: лихорадочном, горячечном, флегматическом, – всё равно, песенка моя спета. Скоро отправлюсь в путь...

– Что так? В какой?

– Любопытно знать?

– Разумеется.

– К моим прародителям.

Чекалов опять нервно рассмеялся. Некоторые дамы стали его расспрашивать: почему он так думает? может, в самом деле, серьёзно болен?

– Предчувствую, что смерть близь меня.

– Так-так, мой дорогой друг, – смеясь, подхватил доктор, – сколько раз говорил, что не веришь в женские бредни, а сам что? Предчувствие, выход... – И он залился добродушным, беззвучным смехом.

– Но вы видите, я встречаю её весело.

– Но... А что было час тому назад – этот прилив смеха? Эх! Молодой человек, тот не офицер, не казак, кто верит бабьим пересудам, теряет присутствие духа. Уж сколько раз бывал в таком состоянии?! Многожды крутилось вокруг меня таких милашек. Да ничего, как видишь, жив ещё!

И доктор затянул одну из любимых песен о воинской храбрости. Мне смутно помнится её текст, простенький, но почему-то любимый офицерами. Все дружно подхватили её слова и пропели до конца.

Было одиннадцать часов. Дамы сидели в гостиной и рассказывали виденные сны и толковали их. Мужчины играли за несколькими столиками в карты. Дети бегали и звонко смеялись, несмотря на поздний час.

Вдруг от коменданта прискакал казак за моим отцом и Несвицким. Оба оставили свои карты и поспешили за казакom. Подобному приглашению никто не придавал особого значения, зная, что комендант частенько вызывает отца в неурочное время.

Один только Чекалов, побелев лицом, куда-то вдруг скрылся.

Спустя час в зал вошёл отец и Несвицкий, которые, перехватив на улице Чекалова, привели с собой. Все обступили их. И громовая весть, услышанная из первых уст, офицеров обрадовала, а дам повергла в шок. Большая экспедиция, о которой так долго говорили, назначена.

Глава IV

В продолжение нескольких последующих дней жизнь в крепости была полна какого-то тягостного томления, предчувствия чего-то недоброго. Спать укладывались поздно, утром с постелей вставали пораньше. Жены убывших офицеров спешили к отцу, чтобы узнать о делах экспедиции, посмотреть с верхотуры башни на дорогу, по которой боевой отряд отправился в нелёгкое предприятие.

На Уляшу страшно было смотреть: исхудала, побледнела, глаза ввалились, как будто после долгой болезни. Все считали её не только виновницей их несчастья, но и первопричиной большой экспедиции. Не проходило дня, чтобы она не плакала от затрепанных няни, с которой никто не мог сладить, а может, и не хотел.

Не могу сейчас точно сказать, сколько дней экспедиционный отряд был в деле против горцев, но достоверно одно: это время показалось нам целой вечностью.

Но вот пришла долгожданная вечерняя пора. Стало смеркаться, и совершенно обезумевшие жены офицеров уговорили матушку идти с ними на бастион встречать своих. Оказывается, к отцу уже прискакал верховой с донесением, что «наши возвращаются».

Матушка, разумеется, уступила их просьбам. Шесть дам, и я, хвостом, отправились на бастион, где был уже мой отец и комендант с несколькими офицерами и доктором.

Мне кажется, я никогда не забуду того сердито-вопросительного взгляда, каким нас окинул комендант, когда мы все высыпали на площадку бастиона. Отец вспыхнул и тотчас же придвинулся к матушке с гневным укором. Она, конечно же, не растерялась и всё уладила должным образом, а вот меня, как несовершеннолетнюю девицу, выпроводили, и я убралась восвояси.

В доме уже все спали, кроме троих: Степана, Уляши и Устиньи.

Наконец-то послышались голоса во дворе. Мы встрепенулись и, сбегав вниз, оказались в объятиях родных и близких.

– Все ли живы и здоровы? Жив ли наш друг? – задавала я вопросы, которые за мною повторяли Уляша, Устюжа и Степан.

Матушка многозначительно помотала головой.

Мы вошли в столовую. Я весело скакала впереди всех, неустанно кричала: «Вернулись, слава богу, вернулись...»

Но когда оглянулась кругом, и яркий свет от горевших свечей упал на мрачные лица столпившихся, невольно ойкнула. Предчувствие чего-то недоброго, страшного охватило меня. Лицо матушки вздрогнуло, из глаз вдруг хлынули слёзы.

Я опустилась на стул. Авдотья Никитична, отвернувшись, утирала носовым платочком мокрые щёки. Уляша, дрожа всем телом, с воспалёнными глазами, горевшими, как два угля, окидывала всех пристальным взглядом. Степан, стоя у притолоки, трясся головой, что доказывало его сильное волнение.

Наконец матушка, утишая дыхание, сообщила нам горестную весть:

– Кулаков убит, Несвицкий и несколько казаков в плену, Чекалов едва живой привезён домой. Говорят, не переживёт и ночи.

И тут раздался страшный, потрясающий душу крик Уляши. Она пошатнулась и, как подкошенная, рухнула на пол. Степан подбежал к ней, поднял, перенес на постель и принялся приводить в чувство.

В это время я, заслышав в столовой шаги отца, бросилась к нему.

Мрачный, перепачканный кровью, он вошёл в столовую.

– Ну что? – окликнула его матушка.

– Плохо, – ответил грустно отец. – Жаль, очень жаль!.. Хороший был офицер, добрый товарищ. Говорят, дрался как чёрт. Храбрости необыкновенной, всюду на первых ролях. Почти всю экспедицию был молодцом. Только под конец напоролся на брата Уляши. Бились не на жизнь, а на смерть... И вот погубили друг друга.

– Боже мой, Боже мой! Сколько горя нам причинила эта девочка! – вскрикнула матушка. – Знать бы – на порог не пустила, в руки не брала.

– Пустые слова! Что сделано – того не воротить, – сказал отец. – Нечего теперь стоять да плакать. Жаль мне только наших офицеров... Ты бы, мать, сходила к Несвицкой. Её, бедняжку, унесли замертво с бастиона!.. И на кой ляд ты сунулась с женщинами туда?!

Он был вне себя. Ходил взад-вперед по комнате, перечисляя достоинства погибших офицеров.

– Сколько горя, сколько горя принесла нам эта девочка! – безутешно повторяла матушка.

Отец махнул рукой на эту канитель и, уйдя к себе в кабинет, заперся. По всему, видать, он был страшно огорчён теми несчастьями, что принесла экспедиция.

В доме воцарилась тишина. Слышно было только жужжание мухи, попавшей в паутину. Все ходили на цыпочках, говорили шёпотом.

Уляша лежала в жару. Устинья прикладывала к её голове компрессы. К утру температура не упала, и её перенесли в избу Степана, поручив ему за ней присматривать.

Я ещё лежала в постели, когда услышала, как кто-то тихо прошёл по столовой. «Чтобы это могло быть? Уж не умер ли Чекалов?» – подумалось мне.

Матушка вся в слезах сидела за чайным столом. Спросить я боялась и выжидала, когда скажут или сама как-нибудь узнаю. Встала, поздоровалась и присела к столу. Чай в рот не шёл, в горле стоял комок. Но я не плакала.

Не успела матушка перекинуться несколькими словами с Авдотьей Никитичной, как отец, совершенно запыхавшийся, вбежал в кабинет, что-то там взял. На возвратном пути остановился перед матушкой и сказал:

– Карл Иванович боится за рассудок Несвицкой. Ступай к ней скорей.

Я невольно вскрикнула. Матушка сделала мне знак глазами, чтобы я умолкла, а Авдотья многозначительно толкнула меня в бок.

Отец ушёл, а матушка опять принялась высчитывать, сколько причинила всем горя Уляшу. Я начала протестовать, но она прикрикнула на меня:

– Не вмешивайся в дела взрослых!.. И на кой ляд мы её окрестили.

– Да в чем же она виновата-то? Почему никто не жалеет? – спросила я. – Комендантша говорит, что её не так содержат у нас, как следовало бы. Она ведь красивее всех в крепости!

– Ты мне не смей молвить, что там говорят другие. Я тоже не последняя спица в колесе.

Матушка рассердилась и опять принялась высчитывать все несчастья, происшедшие через Уляшу. Я больше уже не заступалась, а только слушала и плакала.

...А в это время Уляша в сильном жару уже лежала на лавке в избе Степана, который трогательно её обихаживал. Я тоже подключилась к нему, помогала, чем могла, наблюдала за течением болезни.

Наконец и Степан не выдержал. Усевшись около лавки на низенькую скамеечку и подперев седую голову обеими руками, дрожащим голосом говорил:

– Ухайдакали бедняжку. Бог им судья – умрёт ведь. Как разгорелась, словно в огне.

Я наклонилась над лицом Уляши и тихо окликнула её. Ответа не последовало.

– Не трогайте её, пусть уж лучше умрёт, – сказал кротко Степан. И на глазах его навернулись слёзы.

Я бросилась к матушке. Стала умолять о посылке за фельдшером, иначе потеряем и Уляшу.

Матушка сначала приняла это известие весьма холодно. Но когда я разревелась, отдала все нужные распоряжения по спасению черкешенки.

...Было пять часов дня – обычный час нашего обеда. Я вошла в столовую. Матушка, Авдотья Никитична, Усачёва и няни стояли в кругу и тихо вели разговор.

У меня сжалось сердце. Я остановилась на пороге и не двигалась с места, как будто от моего шага зависели смерть или жизнь кого-то.

– Всё кончено. Царствие ему небесное! – вдруг раздалось в моих ушах.

И тут только я услышала, что говорили они про Чекалова. Все плакали.

Скоро в столовой появился отец. Лицо его было сурово, мрачно. Не поднимая ни на кого глаз, он быстро прошёл в свой кабинет и крепко затворил за собой дверь. Все переглянулись. Было понятно состояние его души.

Подали обед, но никто до него не дотронулся – душа не лежала.

Пришли несколько офицерских жён. Затем приехала и комендантша. Тихо, почти шёпотом разговаривали о Чекалове, об Уляше. Комендантша жалела, что её не было в крепости, когда сватался за неё Чекалов, – может быть, он тогда больше берёт бы себя и не бросался бы на явную смерть.

Графиня очень жалела и Уляшу. Даже, несмотря на предостережение, что с ней горячка, и она может заразиться, навестила её.

В девять часов вечера была назначена панихида по Чекалову.

Отец вышел из кабинета, чтобы идти в госпиталь на церковную службу по умершем. Завидев его, я бросилась к нему на грудь.

– Умер твой друг, Вера. Достойный и храбрый был офицер, – сказал он мне грустным голосом, в котором слышались сдержанные слезы.

Я обвила его шею руками и заплакала. Отец молчал, не шевелясь. Только подергивание плеч, да подымавшаяся грудь, на которую я склонила голову, красноречиво свидетельствовали, почему безмолвствовал.

Глава V

Настал час похорон Чекалова. День был, как нарочно, прекрасный, в полном смысле этого слова. Все собрались в госпитальную церковь. Певчие были у нас превосходные, и когда запели «вечную память», то церковь огласилась громкими рыданиями.

Со всеми военными почестями был схоронен наш друг. Над гробом комендант сказал коротенькую, но прочувствованную речь, в которой высказывал все достоинства, как примерного воина и доброго товарища.

Отдав последний долг останкам Чекалова, мы пошли к Уляше – посмотреть, что с ней. Доктор нашёл её состояние опасным и запретил мне навещать её.

Несмотря на страхи доктора, молодая натура Уляши взяла своё. Она стала поправляться, но не выходила из избы Степана. Эта болезнь ещё более сдружила её с ним. Он любил и заботился о ней, как отец. Иногда, чтобы развеселить, принимался рассказывать ей про свои походы и разные похождения, про свой отпуск, во время которого гостил у своих родных в одной из станиц, как в хороводах был всегда первый запевала и плясун. Словом, сообщал ей то, что могло бы сколько-нибудь развлечь Уляшу. Вот в такие-то минуты я любила убежать в избу Степана и слушать его истории.

Когда Уляша выздоровела, то её обязанности изменились. Она была назначена ходить за мной и смотреть за буфетом. Я была рада, что она избавилась, наконец, от бранчливой старухи.

Наступило лето, стали поспевать фрукты. Мы в свободные минуты уходили в сад с Уляшей и работали. Меня удивляло то, что за последнее время она изменилась: куда-то подевались её прекрасная улыбка и детский резвый смех, светящийся блеск её черных глаз, которыми все так восхищались. Всё изменилось в ней, за исключением покорности судьбе, терпеливости и настойчивости.

У нас был какой-то семейный праздник. Служили молебен. За молебном была комендантша и две дамы. Уляша с утра принялась за работу как-то нервно, торопливо. Детей одела и крепко всех расцеловала. Но что всего более мне бросилось в глаза, так это необыкновенно блестящий взгляд и яркий румянец щек.

Во время молебна она усердно молилась. И когда по его окончании комендантша подозвала её к себе, приласкала, упрекая за то, что ходит такая пасмурная. Она приглашала её чаще приходить к ней, и тут же взяла слово с матушки на утро отпустить нас к ней на целый день. Уляша всё это выслушала, быстро взяла руку комендантши, порывисто несколько раз её поцеловала и выбежала из комнаты.

– Она больна, – сказала комендантша матушке. – Я сейчас заеду сама за Карлом Ивановичем и попрошу посмотреть её. Это видно, что она в ненормальном состоянии.

Через полчаса пришел Карл Иванович. Внимательно осмотрел Уляшу и, сказав, что у неё пустяшный озноб, удалился восвояси.

Мы сели за стол.

После обеда отец, по обыкновению, прилёг отдыхать, и в доме наступила тишина. Все ходили на цыпочках, говорили шёпотом, а часто даже объяснялись мимикой. Детей в хорошую летнюю погоду уводили на это время в сад, а иногда оставляли в детской, за несколько комнат от кабинета отца. Все двери затворялись, чтобы не было слышно детских голосов. И все в доме замирало, как в заколдованном замке, до тех пор, пока сам отец не выходил из своего кабинета и своим призывом кого-нибудь из домашних не давал знать, что он бодрствует.

Эту привычку отца знали не только домашние, но даже в крепости, и из почтения к нему прощали все слабости. Чтобы упредить несведущих зевак, вестовой выдвигался на крыльцо и благоговейно охранял его покой в продолжение полутора часов.

И Боже упаси, если кто-то осмелится нарушить его спокойствие. Всем тогда достанется поровну – и правому, и виноватому.

Вот и в очередной раз, когда отец лег спать, все затворилось и умолкло, я пошла в девичью, чтобы проводить Уляшу в сад. Но едва переступив её порог, была поражена необыкновенным зрелищем. Степан на руках вносил в девичью, как мне вдруг показалось, бездыханную Уляшу. Её совершенно откинута голова моталась из стороны в сторону, а синее, с плотно сжатыми губами, лицо придавало ей страшный вид. Слегка вскрикнув, все девушки бросились к Степану на помощь и уложили Уляшу на лавку. У всех вдруг проявилась к ней жалость – засуетились около неё, приводя в чувство...

– Где ты взял её? Что с ней было? – задавали вопросы Степану.

– На чердаке из петли вынул, – сурово и отрывисто проговорил Степан. И, отойдя к окну, тяжело вздохнул, махнув досадливо рукою.

Боясь разбудить отца, я, пройдя по комнатам на цыпочках, обежала кругом дома, влезла в отворённое окно моей комнаты. И, прихватив одеколон, какой-то спирт, живо вернулась в девичью.

– Ну, слава Богу, кажись, очухалась... Дайте ей ещё понюхать спирту, – говорила с сочувствием Татьяна, – А ты, Устюша, докрасна потри ноги.

Всё это живо и с точностью исполнилось. Уляша начала приходить в себя, тяжело вздохнула и открыла глаза. Я обняла её и поцеловала.

В это время в девичью вошла старуха.

– Это что тут такое? Али всё ещё тоску разводить? – заговорила она. – Ступай, Устюша, в детскую. А ты, Танька, приготовила белье детское? Ну а ты что тут делаешь, али работы на дворе нет? – обратилась она к Степану.

Устюша продолжала возиться около Уляши, растирая теперь грудь.

– Тебе, что ли, говорят, ступай в детскую, – снова заговорила старуха.

– Да ты что кричишь-то? – бойко начала Татьяна. – Да ты что, в самом деле, не видишь, что девка синюшная, чуть не умерла! Да если бы не Степан, то Богу отдала бы душу. Из петли вынул... Вишь какая сласть жить-то с тобой, что петли на шею накидывают... А уж не она ли терпит от тебя. Как ты будешь перед Богом-то за нас отвечать?! А скоро придется тебе умирать – прямо в пекло угодишь!

– В твою могилу не лягу, брехловка ты этакая. А все же черкес, хоть и крещённый, а потому – пёс; своей смертью не умрёт.

Пошла перебранка. Старуха всё больше и больше выходила из себя и, забыв всё на свете, принялась кричать на весь дом.

Татьяна тихо, но делала отпор. Старуха с каждой минутой свирепела. Схватила лежавшую на столе скалку и замахнулась на Татьяну. Та отскочила в сторону; скалка осталась в руках старухи. Но вдруг старуха затряслась, голова опустилась на грудь, и скалка, выпавши из её дрожащих рук, покатила по полу.

Когда оглянулись, отец стоит на пороге девичьей. Лицо его было сердитое, хмурое. В руках его была походная палка из бамбукового дерева, с кинжалом внутри.

– Кто смел, кричать? – сердито спросил он.

Все молчали.

– Кто смел, кричать? – снова громко повторил отец.

Опять молчание. Няньку начало как-то всю передёргивать, но она молчала.

– Кто же кричал? – в третий раз крикнул отец, стукнув сердито палкою о пол.

Все вздрогнули. Нянька зарыдала и повалилась в ноги.

Я подошла к отцу и, по его приказанию, всё подробно рассказала.

– Слушай, старая дура, – начал отец, выслушав меня до конца, – если ты с этой

минуты скажешь, хоть одно слово Уляше, не то чтоб обижать её, я с тобой разделаюсь по-своему. Будешь помнить до новых веников. Шутить я не люблю, да и не посмотрю, что ты старая, а дам тебе знать, как исполнять мои приказания!.. Вера, бери Уляшу под своё покровительство, и я с тобой. Избавить её от всех работ и с этого дня прислуживать ей, как моей дочери: слышишь ты, старая?.. Да и вы, девки, не забывайте, что я не дам вас в обиду этой старой дуре. Я всё слышал. Станет обижать – идите прямо ко мне во всякое время.

Я принялась целовать отца.

– Ну, будет, будет, задушишь, – ласково говорил он. – Знаю, знаю, что рада.

Прибежала матушка и Авдотья Никитична, и не поверили своим глазам и ушам, что внезапное пробуждение так благополучно кончилось.

Я торжествовала, да и девушки были рады такой милости со стороны отца. Одна старуха навзрыд плакала, забившись в угол на своей постели.

С этого дня жизнь Уляши пошла совсем другая. Избавленная от работы, она делала только то, что ей хотелось. Матушка передала ей распоряжение хозяйством. Со всем старанием принялась Уляша за свою новую обязанность и скоро, с помощью Авдотьи Никитичны, она научилась многому. Так что матушка была ею довольна.

Всех казаков, какие взяты были в плен в последнюю экспедицию, черкесы вернули в обмен на своих родных и близких. Но капитана Несвицкого не отпустили, несмотря, ни на какие остротки со стороны коменданта. И никогда бы ему не вернуться домой, если бы не выпустила его из плена молодая черкешенка. Он пробыл там одиннадцать месяцев. Рассказ его о своём пребывании в плену был полон ужасов...

...В сороковых годах, в мае месяце, мы всей семьей покинули крепость Анапу и переехали в С. губернию, С. уезда, в деревню Хопровку. Там было имение тётушки. В письмах к отцу она просила оставить службу, приехать и взять на себя управление их имением, так как она уже стара, не справляется с делами. Сыновья же её все умерли, а единственная дочь красавица давно была выдана замуж за московского купца-миллионера Колпакова.

Тётушка жила в деревне безвыездно, одна, окружённая всевозможными приживалками.

Возможно ли, передать то чувство, с каким мы покинули наше гнездо в Анапе? Где столько было пережито радостного и горького; где каждый кустик, каждая былинка как будто были членами нашей семьи, вместе росли и созревали; где было столько друзей и дорогих могил; где оставались наши добрые товарищи в играх, наш сад, дом, беседка, башни, избушка Степана. Всё это носило на себе следы наших воспоминаний, оставшихся в душах навсегда.

Из близких людей с нами поехали: старуха няня, умершая в дороге; Татьяна, безумно любившая детей; Степан, не хотевший расставаться с Уляшей, которую холил, как дочь.

Прочая дворня, отпущенная матушкой на волю, разбежалась по Анапе.

Отец остался дожидаться коменданта, который был в отпуске, чтобы сдать ему крепость и вслед за нами ехать.

Имение у тётушки было большое, хорошо устроенное. Хотя тётушка осталась очень молодой вдовой, но хозяйство держать умела.

Большой барский дом, выкрашенный дикой краской, с красной крышей, стоял на горе, выходя своим фасадом с балконом в большой тенистый сад со всевозможными парниками, оранжереями и теплицами. Сад на пяти десятинах тянулся по пригорку до самой реки, на которой были две купаленки: дамская на этом берегу, а мужская на противоположном.

Узкий пешеходный мостик был перекинут через реку. С одной стороны дома тянулись разные надворные строения и людские флигели; с другой же стоял, как бы особняком, красивенький деревянный флигель, где жили когда-то сыновья тетушки, а теперь он поддерживался для приезжающей молодёжи – соседей, которые любили иногда заезжать к тетушке и поохотиться в её дубраве, изобильной всевозможною дичью.

Единственная же дочь тётушки, Софья, выросшая, воспитанная в деревне в кругу мамок и гувернанток, по правде говоря, весьма плохих, скучала от постоянной жизни в деревне.

Ей было восемнадцать лет, когда тётушка в первый раз повезла её в уездный город С. на именины городничего. Гостей у него собралось много. В их числе оказался и давнишний знакомый, московский купец-миллионер Колпаков, вдовец, лет сорока с лишком, случайным проездом чрез город С. попавший на именины к своему знакомцу.

Увидев Софью, Колпаков был поражён её красотой. Разузнав, кто она, познакомился с тётушкой, и дня через два сделал предложение Софье. Девица, узнав, что он старик-вдовец с двумя сыновьями, сразу отвергла его. Но перспектива была слишком заманчива: миллионерша, красивая жизнь в Москве и за границей прельстили её. В конце концов, она решилась. В день венчания Колпаков поднёс ей дарственную на три тысячи крестьян, купленных на её имя, и сто тысяч на булавки. Но сказание из уст приживалок гласило, что он на другой день взял от неё векселей на половину стоимости имения.

Свадьба была в деревне, но отпраздновалась так, что и до сих пор очевидцы рассказывают как о чём-то необыкновенном, баснословном. Проживши недели две после свадьбы с матерью, которая не могла расстаться со своей Сонюшкой, молодые уехали за границу, а оттуда в свой дом в Москве, отделанный заново с царственной роскошью для приема молодых.

Каждый год молодые навещали свою мать, проживая в её имении недели по две, а иногда и месяц.

Глава VI

Когда мы приехали из Анапы в имение, то застали в доме страшные хлопоты. Всюду вычищалось, выметалось, убиралось – ждали семейство Колпаковых, которое на этот раз обещалось прожить месяца два.

Старенькая, совсем уже седая тётушка, шаркая своими мягкими туфлями, переходила из комнаты в комнату, осматривала, поправляла и в тоже время своим слегка дребезжащим голосом напевала какой-нибудь священный стих. Наконец приготовления кончились. Тётушка вздохнула свободно и занялась вполне нами: ласкала, расспрашивала, любовалась – словом, была вполне как родная.

Так прошло недели две с нашего приезда. Однажды, после обеда, мы все сидели на балконе и лакомились. Вдруг по дому раздался чей-то голос, кричавший: «Едут, едут»!

Все разом встрепнулись, поднялись с мест и застряли в балконной двери. Прошло с минуту, когда опомнились и пропустили первую тётушку. Чуть не бегом, бросилась она к крыльцу, около которого, без бубенчиков и колокольчиков, чтобы не беспокоить тётушку, уже остановилось несколько экипажей, и дворня помогала выходить приезжим.

Тётушка затряслась, заплакала и устроила полный хаос. Все толпились, целовались, говорили, плакали, смеялись. Первым очнулся Колпаков.

– Что же это, матушка, мы тут-то? Пойдём в комнаты.

– Я совсем, батюшка, обезумела от радости. Пойдёмте, пойдёмте, дорогие мои гости. – И мягкие туфли тётушки зашаркали по паркету.

В зале началось представление и ознакомление. Высокорослый Колпаков, толстый, с довольно почтенным брюшком, совершенно седой, с весёлыми симпатичными глазами, дружески всем пожимал руки, называя своими милыми или друзьями.

Софья Колпакова была высокая стройная брюнетка и, несмотря на свои почти тридцать лет, была удивительно свежа и хороша, одета роскошно, по последней моде.

Двое деток – девочка и мальчик – были хороши.

Гувернантки – англичанка, француженка и бонна-немка, одна другой уродливее и жеманнее, – вертелись около детей.

Наконец, выступили два пасынка Колпаковых: Егор, гусар двадцати пяти лет, красивый, стройный брюнет, ловкий, вертлявый, постоянно покручивающий свои тоненькие, вытянутые в ниточку усы.

Второй, Николай, улан двадцати трёх лет, полный, неповоротливый, с лицом, хотя добрым, но угреватом-опухшим, с взъерошенными волосами.

Все перезнакомились, перецеловались, как близкие родные. Тётушка в своём восторге даже приказала позвать Уляшу и показать её как редкость.

Пришла Уляша.

– Выть сюда, на середину комнаты, – сказала ей ласково тётушка.

Видя такое большое и незнакомое общество, Уляша робко выступила вперёд и всех присутствующих обвела глазами.

– Ого, какие у неё большие глаза! – сказал маленький Колпаков, глядя пристально на Уляшу.

Все разом обступили её, не стесняясь, стали вслух выражать своё удивление и восторг.

И действительно, за последнее время Уляша ещё более похорошела. В своём национальном костюме, стройная, грациозная, она стояла как вкопанная и выслушивала себе похвалы. На неё были надеты: белая, с широкими рукавами, сшитая рубаха; пунцовые широкие шальвары, короткая юбочка, поверх которой натянута зелёный термалала без рукавов и бешмет, обшитый серебряным галуном; узкий серебряный пояс стягивал её стройную тонкую талию, за которым в серебряной с чернетью оправе висел кинжал. Маленькие ножки были обуты в зелёные сафьяновые чевжи. Шитая серебром кабардинка набекрень прикрывала черные как смоль волосы, упавшие длинными косами на плечи. Белые серьги, бусы на шее, белая кисейная чадра прекрасно дополняли её наряд.

Колпакова, приставив к глазам золотой лорнет, окинула Уляшу с ног до головы пристальным взглядом и проговорила, тонируя:

– Хороша, очень хороша.

Колпаков ласково потрепал её по плечу, изрек воображаемые черкесские слова, а, в сущности, просто какую-то тарабарщину. Уляша посмотрела на него, не понимая, что он сказал. Колпаков громко и добродушно засмеялся.

– Не понимает, по-моему, – сказал он.

Гувернантки глядели на неё, улыбались и тихо между собой вели разговор.

Маленький Колпаков осмелился подойти к Уляше и сходу взялся за холодное оружие.

– Что это такое?

– Кинжал, – ответила Уляша.

– Ну, уж этого бы я ей не позволил носить, воля ваша, – заговорил Колпаков. – Долго ли до греха? Человек она горячий – азиатка. Рассердится – хватить, и готово!

Все засмеялись.

– Это прекрасно, – отозвалась Колпакова, – она в национальном своём наряде, из него выкинуть нельзя ничего. Я думаю, она помнит, что не среди своих разбойников.

Колпаков тотчас же согласился с мнением жены, которую он любил как в первый день женитьбы, и слепо повиновался ей во всём. Её слово было для него законом.

Николай, заложив руки в карманы брюк, сонливо взглянул на Уляшу, вскинул глаза на Егора и отошёл прочь.

Егор развязно подошёл к Уляше, с минуту смотрел на неё пристально, причём глаза его как-то уменьшились и приняли отталкивающее выражение. На лице проскользнула улыбка самодовольствия. Чмокнув каким-то образом губами, он протянул руку к щеке Уляши, сказал:

– Какая ты красавица!

Уляша вспыхнула. Быстро ударила его по протянутой руке и, отбежав к дверям коридора, устремила на Егора свои светящиеся чёрные глаза, как бы вызывая его на бой.

– Ого! Да ты сердитая, – сказал Егор, направляясь к Уляше.

Уляша стояла неподвижно на месте, зорко следя за всеми движениями Егора.

– Оставь её, Егор, – смеясь, сказал сам Колпаков. – Это ведь, брат, не из нашего племени, азиатка! Не шути, народ дикий, огненный.

– Ну, увидим! Мы немножко умеем и укрощать, из дикарки делать ручную птицу.

Сказав это самоуверенным тоном, громко рассмеялся и отошёл прочь.

Софья Сергеевна слегка нахмурила свои чёрные брови и сердитым взглядом окинула Егора и Уляшу. Николай протяжно и многозначительно промычал. Колпаков отдувался и поглаживал своё почтенное брюшко в знак какого-то особого довольства. Гувернантки втихомолку пересмеивались. Матушка, сконфуженная и недовольная, смотрела на Егора. А тётушка, не придав этому особого значения, спустя минуту заговорила мягким голосом:

– Что ты хочешь от неё, мой друг? Ведь она горянка, уж ты не взыщи.

– Да я ничего, бабушка. Я говорю только, что постараюсь приручить дикую козу и за нынешнюю дерзость заплатить ей сторицею.

Все засмеялись, кроме Софьи Сергеевны и матушки.

По приказанию последней Уляша ушла. Все приезжие перешли в гостиную, и начался семейный и самый откровенный разговор.

С этого дня в доме тётушки как будто что-то переродилось. Всё пошло на новый лад. Ложились спать поздно, вставали, когда попадая, обедали, чай пили, десерт подавали – всё не так, как было прежде, а как любила Софья Сергеевна. Суета была с раннего утра до позднего часа, а иногда даже ночью. Гости приезжали и уезжали. Шум, пение, попойки, карты, танцы, охота – всё это сменялось одно другим и вихрем всех за собою захватывало и кружило. Даже старые приживалки как-то приободрились – ходили скорее и говорили громче. Одна только старая экономка Аксинья была недовольна этой кипучей жизнью. Ворча и гремя ключами, она целый день должна была переходить из одного места в другое, выдавая разную провизию и исполняя требования гостей.

– Хоть бы ты мне, милая, помогла, – говорила она ласково Уляше, которую полюбила с первого же дня. – А то совсем ноженьки обтоптала. Наших-то не допросишься. Им бы только зубы скалить на парней. А ты кроткая – помоги мне.

И Уляша с удовольствием шла за старухой, помогала ей, несмотря на то, что с приходом Колпаковых она сама не знала себе покоя. Преследования Егора лишили её прежней весёлости. Не проходила ни одна попойка приезжей молодёжи, которая не вынуждала поплакать Уляшу.

Несколько раз делала матушка замечания Егору относительно Уляши, прося его оставить её в покое. Егор извинялся, давал слово быть благоразумным, но в очередную пирушку забывал про данное им матушке обещание. И Уляша снова была жертвой его преследований, от которых всякий раз спасал её Степан, поплатившись сам за это вмешательство.

– Что, глупая, плачешь-то? – говорила ей старенькая экономка. – Только себя убиваешь. Да плюнь ты на него, окаянного, а в иную пору и вмажь ему, бесстыжему. Не посмеет жаловаться-то.

Но Уляша плакала, а советы старухи не приводила в исполнение, помня слова нашей няни: «Ты крепостная – должна всё терпеть». И Уляша терпела, безропотно перенося все невзгоды, посылаемые на её долю.

Был базарный день. Гостей наехало много, даже из ближайшего уездного города С. приехало человек пять гарнизонных офицеров. С самого утра началась попойка. Уляша, боясь показаться на глаза Егору, сидела в комнате, назначенной для нас. За обедом молодежь, протрезвившаяся от купания, вела себя сдержанно, беспрестанно посматривая на Уляшу, стоявшую за стульями моей маленькой сестры и брата.

Обед кончился. Молодежь тотчас же ушла к себе во флигель, а всё остальное общество перешло в сад, в круглую стеклянную беседку, где был уже приготовлен десерт и чай. Все дети, Колпаковой и наши, бегали вокруг беседки и звонко смеялись.

В крытой лёгкой постройке шёл оживлённый разговор.

– Пойдите, позовите сюда, барышню, Уляшу-то, – шепнула мне на ухо экономка, наливая чай. – Как бы тот, головорез, опять не набросился на неё! Ванька уж стащил туда целых пять бутылок разного вина, опять «налижется». А сейчас, как я шла из кладовой, так Ванька опять прибежал за вином, уж выпили, да я прогнала, не дала: что на каменку поддавай, то и им.

Я кинулась в дом. Но, не добежав до балкона, уже услышала громкий смех нескольких голосов и насвистывание плясовой. Гам разносился из окон залы. Чуть не одним прыжком очутилась я около затворенных дверей залы и с размаха их отворила и остановилась на пороге, пораженная необыкновенным зрелищем. Человек девять молодёжи, кроме Николая Колпакова, который в это время лежал мертвецки пьяный в гостиной в креслах, стояли в кружок, смеясь и насвистывая плясовую песенку. А в кругу маленький, жиденький офицерик плясал, пристукивая каблуками и выделявая разные прыжки, увлекая за собою Уляшу. Бледная, с изорванной чадрой, она упиралась, силясь высвободить свою руку из его руки.

Наконец я опомнилась, рванулась в кружок на помощь к Уляше, но с диким хохотом была задержана пьяной компанией. Егор взял меня за плечи, вывел за дверь, сказал:

– Нет, уж позвольте, мы укрощаем дикобраза.

Я побежала в беседку и, вероятно, моя физиономия выражала такой испуг, что все почти в один голос спросили меня:

– Что случилось?

Я рассказала.

– Надо же остановить это буйство, строго сказала Софья Сергеевна мужу.

– Знаю, знаю, матушка, я иду, – ответил он и, в сопровождении матушки и меня, поспешил в дом.

Как ни была пьяна эта вся буйная ватага, но при виде матушки и Колпакова все разом замолкли и расступились, выпустив из рук совершенно растерянную Уляшу. Матушка увела её к себе в комнату, а Колпаков разразился целым потоком красноречивых, но не убедительных слов.

Молодёжь тотчас же, не прощаясь ни с кем, разъехалась по домам, а на утро Егор уехал в имение своей мачехи и должен был пробыть там недели две. Николай почти не показывал глаз: то был на охоте, то пьян.

Уляша повеселела. Ни кем не стесняемые, мы с ней в сопровождении нашего Степана, ходили в лес, катались в лодке и вообще жили в своё удовольствие, не предвидя того, какой сюрприз готовится нам к концу второй недели.

Передать подробно, последовательно одно за другим, как и почему и что именно тут руководило матушкой, я не берусь. Но только спустя неделю после отъезда Егора матушка с Колпаковым куда-то ездила дня на два и возвратилась оттуда какой-то опечаленной; говорили что-то шёпотом, особенно сторонясь меня. Раз-два заметила я, как матушка ни с того, ни с сего приласкала Уляшу. Всё это было так странно, неестественно, что мы с Уляшей начали чего-то бояться, и наше предчувствие нас не обмануло.

Однажды, когда мы с ней, весёлые и довольные, возвратились из лесу, принеся полные корзинки каких-то ягод, и угощали детей, в комнату вошли разом три приживалки и позвали Уляшу в гостиную.

Уляша слегка вздрогнула, побледнела и тотчас же последовала за ними. На диване полулежала Софья Сергеевна, приставив к глазам золотой лорнет. Тётушка сидела в креслах рядом с матушкой. И полушутливо, полусерьёзно разговаривала с ней. Приживалки, исполнив приказание, поместились ближе к Софье Сергеевне, ожидая новых посылок, которые они исполняли с необыкновенным рвением, перегоня одна другую или все три вместе.

Все взоры были обращены на Уляшу, только что вошедшую и остановившуюся у двери.

– Подойди ближе сюда, Уляша, – сказала матушка мягким голосом.

Уляша придвинулась.

– С этого дня ты принадлежишь не мне, а моей родственнице – Софье Сергеевне; служи ей так, как служила мне, и я уверена, что тебе там будет лучше жить, чем здесь.

Это известие так поразило нас, что первые минуты я стояла около матушки и думала, что всё, что я слышу и вижу, происходит не наяву, а во сне. Уляша же, как громом поражённая, стояла и слушала, как матушка делала ей наставление. Ни вздохом, ни слезами, ни единым словом не высказала она, что происходило у неё на душе, тогда как матушка под конец своей речи говорила уже совсем дрожащим голосом и с расстановкой.

– Ну что же, друг мой, ведь не в каторгу же ты её отдаёшь, а на жизнь хорошую, столичную, – заговорила тетушка, обращаясь к матушке. – Увидит там разные диковины, каких ещё не знавала.

– Ты, милая, должна благодарить своего аллаха, что ли, как он там у вас называется, – начала Софья Сергеевна. – Благодарить за то, что будешь жить у меня – в роскоши и довольстве. Обязанности твои будут состоять лишь в том, чтобы служить мне в гостиной, сопровождать меня, куда я захочу тебя взять. А в церкви стоять за моим стулом. Остальное время ты свободна. Кажется, работа очень лёгкая. Будешь ходить в своём национальном наряде. Но... предупреждаю тебя, моя милая, не вздумай завести какую-нибудь шашню. Ты понимаешь, о чём я говорю, – и при этом Софья Сергеевна как-то особенно покосилась на дверь, в которой в это время остановился Егор с сияющим лицом.

Увидев его, Уляша задрожала. Губы её побелели и затряслись.

– Так понимаешь ты, что я говорю? – продолжала Колпакова. – Тогда я не посмотрю на твою красоту и поступлю с тобой так, как мне вздумается, – разумеешь?! Я тогда с тобой расправлюсь жестоко. Да, жестоко! – проговорила она, возвысив голос и ударяя на последнем слове.

Уляша молчала. Егор, едва касаясь, пола и скрепя сапогами, выдвинулся вперёд и остановился за креслом тётушки.

– Я тебя спрашиваю, – опять начала Колпакова, – ты всё поняла, что я тебе сказала?

– Всё, – тихо ответила Уляша.

– Ну, смотри же, ничего не забудь. А теперь ступай. И пока я тут, ты можешь служить своей старой госпоже. – Затем, обратившись к улыбающемуся Егору, она добавила, поднимаясь с дивана: – Мон шер, дай мне руку, и пойдём в сад. Я устала, разговаривая с ней.

Они удалились. А вскоре и мы с матушкой пошли в нашу комнату. Уляша села на сундук, обхватив обеими руками свою голову и слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Я бросилась к ней на шею, и мы обе разом заплакали. Глядя на нас, заплакала и матушка: ей вдруг почему-то стало жалко Уляшу. Тут же она объявила нам, что сама не знает, как поддавалась разным уговорам и продала Уляшу, или, лучше сказать, сменила на целую семью, состоящую из мужа с женой, двух дочерей и маленького сына. Впоследствии эта семья оказалась вся негодной, так что мы не знали, как от неё избавиться и выдали им вольную, отпустив на все четыре стороны. Матушка, в своём неведении думала, что стоит ей только заявить, как Уляшу снова возвратят нам. Но не знала она того, что Колпаков был слишком опытен и обмен совершил по всем правилам закона. Так что возврат был уже невозможен без доброй воли Колпаковой.

И всё это было сделано быстро, не дав матушке одуматься и даже спросить разрешения отца.

В тот же день, поздно вечером, когда почти все разбрелись по своим спальням, мы с Уляшей выпросились у матушки посидеть и поговорить со Степаном, который любил каждый вечер подолгу засиживаться в саду.

Ночь была очаровательная; кругом тишина, изредка нарушаемая сиплым лаем сторожевых собак да однообразным постукиванием в медную доску церковным караульщиком.

Степана мы застали сидящим на лавочке в одном из отдалённых уголков сада облюбованного места. Он радостно встретил нас и тут же объявил, что наконец-то с утра собирается с псарём Василием идти на охоту и поучиться стрелять дичину. Но, не слыша от нас обычных весёлых разговоров, вдруг замолк, посмотрел на Уляшу и спросил сурово:

– Али опять он?

– Нет, – ответила Уляша и тяжело вздохнула.

Я принялась рассказывать всё, что случилось с ней. Степан слушал молча, но, когда я окончила, вдруг приподнялся с места, сделал, было, шаг вперёд. Но потом, как будто что-то вспомнив, взялся за голову обеими руками и тяжело опустился на лавку, глухо проговорил:

– Хоть бы барина-то дождалась.

– Матушка говорит, что она опять вернёт Уляшу, если ей будет плохо, что ей стоит только сказать слово. А бумага, написанная, ничего не значит.

– Малый вы ребёнок ещё, панночка. Не понимаете: что написано пером, того не вырубить топором... Знать, недаром, панну возил с собой этот толстобрюхий барин. Пропала моя сердечная. Господи! – вскрикнул он в голос. – Зародится же такой несчастный человек на свет белый! Всё-то ему одно горе за горем. Бегать бы ему, что горной козочке, на диво своим землякам. Попалась, закабалили, окрестили. А счастье подвернулось – отняли, и тут же сменяли – из кабалы в кабалу продали. Эх! Жизнь наша! Был бы барин – не бывать бы этому. Велика корысть лишний работник – да разве я работник? Живот бы свой на работе положил, лишь бы тебя не отдавали.

Старик замолк, тяжело переводя дыхание. Уляша молчала, сидела, опустив голову на грудь, не замечая того, как шаловливый ветерок заигрывал с ней, то открывая, то закрывая ей лицо краями чадры, небрежно и наскоро накинутой на голову. Откуда-то из сада донёсся до нас лёгкий скрип сапог, который тотчас же и замолк; в то же время, почти над самыми нашими головами, вспорхнула птичка и перелетела с места на место. Из-за высокого и широкого дуба выплыл молодой месяц и осветил своими бледными лучами седую, как серебро блестящую, и поникшую голову Степана.

– Слушай! – вдруг глухо проговорил Степан, обернувшись к Уляше. – Слушай, моя горемычная, моя сиротливая! Ходил я за тобой, берёг тебя, словно родное детище; защищал тебя, сколько сил моих было, из-за тебя поехал сюда, а теперь отнимут тебя у меня. Увезут туда, где глаз мой не увидит и ухо не услышит. – Степан перевёл дух и продолжил: – Плохо тебе будет – оповести меня. Хоть пешком, да приду к тебе на выручку. Нельзя будет выручить...

Вдруг голос его дрогнул. Какая-то резкая нотка зазвучала в его голосе. Он поднял голову и продолжил:

– Не выручу, не решу с ним, злодеем, – вот тебе он свидетель! – И Степан судорожно указал на месяц, плывший среди звёздного неба. – Не жить ему тогда – один конец.

Степан умолк, и голова его бессильно склонилась на грудь.

Так прошло с минуту. Вдруг невдалеке от нас послышались шаги, лёгкий скрип сапог и шелест платья. Кто-то шёл, и прямо в нашу сторону. До нас стали доноситься отрывочные слова.

Не желая быть замеченным в такой поздний час и в отдалённой части сада, мы поспешили встать и спрятаться за высокими кустами акации, что находились позади лавочки, на которой мы только что сидели. Через минуту мы увидели Егора, шедшего под руку с Софьей Сергеевной.

Они вели тихий, оживлённый разговор. Опустившись на лавочку, с которой мы только что сошли, Софья Сергеевна сказала взволнованным голосом:

– Тогда я придумаю для неё страшную пытку, и ты всё это будешь видеть, но видеть в ней мою сопер... – Колпакова не договорила последнего слова.

Егор тихо засмеялся.

– Если бы ты только могла знать, как ты хороша! – проговорил он.

Сквозь ветки акации мы видели Колпакову и Егора. Вся в белом, с распущенными волосами, освещённая бледным светом луны, она и в самом деле была очень хороша. Из их разговора мы узнали, что Уляша взята по желанию Егора, чтобы замаскировать их отношения с мачехой, которые стали слишком очевидны для всех. Колпакова уверяла,

что если он предпочтёт эту дикарку ей, то изобретёт такую для неё пытку, которая заставит его вздрогнуть. Она говорила, а он громко смеялся, целуя её руки. Затем послышалось несколько отрывочных слов, уверений, и они медленно стали удаляться от места нашей засады.

Когда шаги смолкли, мы вышли из-за кустов и возвратились в дом. Матушка ещё не спала и ждала нас. Мы передали ей, что слышали.

Тут только она поняла, с какую целью была куплена у неё Уляша.

Всю ночь матушка не спала и на другой день ходила с головною болью.

Дни проходили, как и прежде, шумно, разнообразно. Только Уляша совсем изменилась, как будто для неё жизнь утратила всё своё значение. По целым часам сидела она около маленьких моих братьев, целовала их, забавляла игрушками. А поздно вечером мы шли к Степану в сад или на девичье крыльцо и просиживали до тех пор, пока матушка не присылала за нами Матрёну.

Глава VII

Однажды с какими-то поручениями от матушки Степан был послан в уездный город С. и должен был пробыть там дня два. В это время, как нарочно, гостей было более чем когда-нибудь.

Колпакова хвасталась своим приобретением, выставя Уляшу напоказ. Две барыни, в первый раз приехавшие в гости к тетушке, при нас, когда им сказали, что сейчас придёт черкешенка, которую привезли из Анапы, испугались не на шутку. Замахали руками, говоря, что этот дикий народ такой варварский, что, не разбирая ничего и никого, бросится и загрызёт. И были крайне удивлены, когда увидели перед собою кроткую, покорную девушку необыкновенной красоты.

– Скажите, пожалуйста... Ах, какой пассаж! Да она смирней нашей Палашки, которая каждую ночь чешет мне пятки. Поди-ка сюда, милая!

Уляша подошла к барыне.

– Право, хороша! Покажи-ка руки... Скажите, руки как руки! А мне говорили, что они у них устроены особенным образом.

В гостиной раздался смех. Бывшая тут молодежь подхватила, и помещицу стали уверять, что действительно они особый народ, и сложены по-другому. Помещица не знала, чему верить: словам ли или своим глазам.

– Это исключительный экземпляр! Потому Софья Сергеевна и купила его, – наперебой говорила молодёжь.

Неизвестно, как долго продолжалась эта поистине странная сцена, заставлявшая стоять Уляшу среди гостиной и служить предметом рассуждений, если бы не вошёл лакей и не доложил, что обед подан.

После трапезы молодёжь сошлась во флигеле. Колпаков уединился в пустых покоях. Тётушка с Колпаковой, матушкой и приживалками уселись на балконе; помещицы в тот же час уехали домой. Дети под присмотром гувернанток принялись играть в саду.

Нигде не обнаружив Уляшу, я спросила о ней у матушки и получила ответ: «Не знаю, кажется, послала экономка зачем-то на кухню».

Выйдя на крыльцо, стала её поджидать. И обомлела от ужаса. По пригорку от летней постройки, как дикая серна бежала Уляша, а за нею с арапником в руке, без сюртука гнался Егор. Несколько мужчин, стоявших у флигеля, громко смеялись, присвистывали, хриплым от перепоя голосом кричали: «Ату... ату её!»

Добежав до наружной пристройки, Уляша одним прыжком запрыгнула на неё и скрылась за дверь. Следом за ней, запыхавшись, с налитыми кровью глазами по ступенькам вбежал Егор. Арапник взвился в воздухе и с размаха опустился около моего плеча, задев платье. Я вскрикнула. Егор очнулся и тут только понял, кто мог стать жертвой его необузданности! Он бросился ко мне и заплетаящимся языком забормотал извинения.

Мой вопль был услышан. Скоро на крыльцо высыпал весь люд, проживавший в доме. Даже Колпакова, с французским романом в руках вышла на крыльцо и осведомилась, что случилось. Но, заметя растрёпанного Егора, нахмурилась и, отвернувшись от него, стала кого-то искать глазами.

Меня, дрожащую и плачущую, усадили на лавку. Стремясь успокоить, матушка стала расспрашивать, что да как. И, выслушав меня, спала с лица и тут же заявила Колпаковой, что желает взять Уляшу к себе обратно.

– Посмотрим и поговорим об этом после, – ответила холодно Колпакова и окинула презрительным взглядом Егора, который, забыв про своё полное неглиже бессвязно бормотал какие-то оправдания.

На строгий выговор от моей матушки он, нагло смеясь, ответил:

– Быль молодцу не укор, я только хотел проучить дикарку.

– Хотя быль гусару не укор, – вступилась тётушка, – а всё же гусару гоняться за девицей с арапником не пригоже.

Егор, дыбясь и покачиваясь, ушёл во флигель.

Уляшу мы застали сидящей на сундуке с распущенными волосами, без потерянной кабардинки, чадры. Увидев нас, она встала с места, повалилась в ноги матушке и, как безумная, зарыдала, умоляя её не отдавать Колпаковой.

Матушка прослезилась и торжественно дала слово вернуть её назад.

Но впоследствии она убедилась, что не так легко это сделать. Обмен был совершен и закреплён по всем правилам закона.

Разбуженный суматохой, с заспанным добродушным лицом вошёл к нам в комнату сам Колпаков, узнать, в чём дело.

Рассказав, что произошло, матушка решительно объявила о своём желании возвратить Уляшу. Колпаков ответил, что, со своей стороны, готов, но всё решает Софья Сергеевна.

От нас он ушёл во флигель. Что там было – я не знаю, но только на другой день сыновья Колпакова уехали в Москву, а сами они ещё остались недели на две.

Быстро пролетели для нас дни этих назначенных двух недель. Каждый день вечером, в то время, когда большие садились за ужин, мы с Уляшей спешили в сад на наше укромное местечко, где встречали поджидавшего Степана. Мы вспоминали всё, что было с нами чуть ли не с самой колыбели, сравнивали нашу жизнь в крепости и здешнюю, заранее составляли себе понятие о житьё-бытиё в Москве, какое придётся вести Уляше. И странно: Степан, до последней минуты расставания с Уляшей, не терял надежды, что её оставят при нас, что Колпакова пожалеет наших детей, которые, как нарочно, более чем когда-нибудь ласкались к черкешенке.

Матушку это трогало. Она несколько раз уговаривала Колпаковых отдать ей назад Уляшу, но Софья Сергеевна упорствовала. Написать отцу о своём поступке и просить его вступить за матушку боялась. Ждала, когда он приедет, лично с ним переговорит и вернёт Уляшу.

Свои соображения она передала Уляше, думая этим успокоить её.

В свою очередь Колпакова выпросила и меня у матушки погостить всю зиму в Москве, чему я несказанно обрадовалась.

И вот настал день нашего отъезда. В доме поднялись ранее обыкновенного. После обеда, часу в шестом, мы должны были отправиться в дорогу. Все наши дети, матушка, Матрёша и Степан, собрались в одной комнате, чтобы проститься с Уляшей. Матушка, вся в слезах, делала ей наставления, как себя вести, обещая, как только приедет из крепости отец, отобрать её назад. Уляша, одевшись в дорожное платье, молчала и вслушивалась в слова. Маленькие мои братья и сестра теребили её, умоляли не покидать их. Матушка останавливала детей и в тоже время, плача, утиралась фартуком.

Степан стоял тут же, прислонясь спиной к притолоке, как бы ища у неё опоры. Его старческое доброе лицо было мрачно, а из-под густых нависших бровей смотрели на Уля-

шу глаза, полные слёз. Седая голова его по временам нервно вздрагивала, а грудь тяжело и высоко поднималась.

– Ну, теперь прощай, милая. Пора, не унывай... – проговорила отрывисто матушка и заплакала.

Уляша как бы вдруг очнулась. Вся вдруг затряслась, зарыдала. И, обняв шею матушки, припала головой к ней на грудь.

– Будет, будет, милая, верну тебя... Прости меня, так греху быть, – говорила матушка отрывочно, со стоном в голосе.

Дети подняли громкий плач, цепляясь за Уляшу. Простившись со всеми, Уляша подошла к Степану. Он обнял её, с минуту продержал в своих руках. И далее не выдержал: глухой, как будто предсмертный, стон вырвался из его груди.

– Не забывай меня, сиротка... Оповести, если что, дай знать... – сказал он, едва выговаривая слова от слёз, душивших его

Прощание кончилось. Мы разместились в трёх экипажах. Я села с Уляшей и двумя девушками в открытую бричку.

Все домашние вышли на крыльцо и стояли до тех пор, пока мы скрылись из глаз.

Поднявшись на пригорок, на котором была церковь, мы увидели около ограды стоящего Степана. Он ещё издали махал нам шапкой. Кучер остановил лошадей. Степан подошёл к нам и дрожащей рукой сунул в руки Уляши маленький узелок.

– Возьми, возьми, моя сердечная, забыл я давеча, может, пригодится, – сказал Степан дрожащим голосом, смахивая ладонями со щёк слёзы, мешавшие ему смотреть на Уляшу.

Раздалось последнее «прощай» Кучер взмахнул кнутом, дёрнул вожжи, лошади рванулись и понеслись по гладкой дороге, догоняя далеко уехавшие экипажи.

Мы с Уляшей оглянулись назад, кланялись, махали платками Степану, стоявшему всё на том же месте с непокрытой головой.

Мы развязали узелок, переданный Степаном. В нём были: новый небольшой шейный платок, два серебряных рубля и комочек чернозёма, бережно завернутого в бумагу. Мы знали значение родной земли, и поэтому Уляша, поцеловав её, спрятала на груди.

Глава VIII

После нескольких дней путешествия мы, наконец, въехали в Москву и остановились перед большим двухэтажным красивым домом, с великолепным подъездом. Нас встречала толпа дворовых, бросившихся помогать выходить из экипажей.

Мы поднялись по широкой лестнице с бронзовыми перилами, блиставшими как золото. Ступени были устланы мягким ковром, уставлены по обеим сторонам разными статуями и цветами. На нижней площадке стоял Егор. Весело окинув нас взглядом, звонко прокричал:

– А-а! И ты, дикарка, приехала?.. И вы, Верочка? Очень приятно!

Наскоро поздоровавшись со всеми, он взял под ручку Софью Сергеевну и скорее внёс, чем ввёл её на лестницу.

Пыхтя и отдуваясь, поднимался за ними Колпаков. Наверху, на пороге передней, встретил нас Николай и, не торопясь, сонливо поздоровался со всеми. Мы вошли в залу. Нашим глазам представилась длинная анфилада роскошно меблированных комнат.

Колпакова в сопровождении Егора и горничной тотчас же ушла в свой будуар. Колпаков, сославшись на усталость с дороги, тоже пошёл в свой кабинет с Николаем и камердинером. Дети с гувернантками, няньками, горничными направились в детскую, приглашая и меня с собою. Но я сообщила, что пойду с Уляшей, куда её поведут, и буду жить с нею в одной комнате до времени отъезда. Это вызвало несколько резких замечаний со стороны одной из гувернанток и рябой экономки Софьи Сергеевны, которым явно не понравилось такое заявление.

Сначала это меня сконфузило, на минуту поколебало моё решение, но, взглянув на Уляшу, я, тотчас же, упрекнула себя в своей слабости и решительно заявила о своём желании поместиться вместе с Уляшей.

Рябая экономка, старая дева, напомаженная, гладко причёсанная, повела нас по длинному коридору на второй этаж. Проходя мимо девичьей – большой, чистой комнаты, в которой толкалось несколько опрятно одетых девушек, она остановилась и полунасмешливо сказала им:

– Посмотрите-ка, выискали какую!

– Значит, ещё новая пожива нашему сорванцу,- сдержанно засмеявшись, молвила одна из девушек, оглядывая Уляшу.

– Что смеёшься-то? – отозвалась другая, красивая высокая блондинка, стоявшая около пьельцев. – Это не наш брат, может не поддаться, как мы, дуры. Эх, кабала крепостная! Всё терпи, а то и во второй раз, сдернут шкуру с плеч, а в третий уж не захочешь.

Уляша вздрогнула, пристально взглянув на неё.

– Да посмотри, милая, посмотри, – продолжала светловолосая, – да потерпи с нашего достатка, а мы уж позарез устали. – Девушка порывисто двинула пьельцы и села за них.

– Ну что ты стращаешь-то? – отозвалась экономка. – Чай не каторга тут.

– Может, на каторгу-то лучше, чем тут. По крайности не надругаются над чьим-нибудь горем, слезами.

– Ну, хватит пугать и стращать новенькую! Стерпится-слюбится, – отозвалась молодка, только, что вошедшая в девичью и, очевидно, слышавшая разговор.

– И ты по-другому заговорила, а давно ли голосила-то да топиться хотела?

Между девушками завязался разговор, а мы двинулись дальше.

Комната Уляши оказалась в конце коридора. Хоть и маленькая, но со всеми удобствами и принадлежностями, какие требовались. Чистенькая кровать, маленький комод, зеркало, стол и несколько стульев и даже три горшка цветов на окне, украшенном белыми кисейными занавесками.

Это уютное помещение произвело на нас хорошее впечатление. Вещи наши были уже принесены.

Мы стали снимать с себя дорожные платья. Экономка Саввишна принялась расспрашивать Уляшу, зачем она привезена сюда, для какой надобности, и на каком, положении. Уляша охотно отвечала.

– Это только отвод глаз, знаем мы! – сердито заговорила экономка. – Своих-то хороших всех уж перебрал, так взял теперь из-за гор, моря! – И, помолчав немного, добавила: – Ну, посмотрим, понравится ли тебе жизнь такая, не хуже тебя были и мы...

Не успела она договорить последних слов, как в комнату вбежала худенькая, юркая старушонка с маленькими серыми глазами, беспрестанно перебежавшими с места на место.

Это была распорядительница всего дома, а также покровительница разных проказ своих молодых господ, вследствие чего власть её была неограниченна. Затараторила скороговоркой

– Так вот какую нам штуку привезли? Ну, такая, пожалуй, сразу-то и не поддается!

Громко засмеялась, открывая ряд гнилых черных зубов. Она также предложила мне поселиться в детской, и я опять отказалась.

Они обе ушли, и через час нам принесли чай и закуску.

Вот каким образом мы были встречены в доме Колпаковых.

На другой день Уляшу позвали к Софье Сергеевне. Получив приказание надеть самое лучшее платье, вместе с Колпаковой поехала в открытой щегольской коляске на Кузнецкий мост.

Вечером собралось много гостей. Уляша стояла у дверей гостиной и ожидала приказаний Софьи Сергеевны. Молодёжь, наехавшая к Егору и Николаю, улыбалась и трунила, посматривая на Уляшу.

После чаю и крепкого вина общество сделалось шумнее. Старички купцы, с покрасневшими от пунша лицами, умильно поглядывали на Уляшу и оценили её, как редкий товар. В особенности один – совсем седой купец с почтенным брюшком, на котором болталась толстая с разными брелоками золотая цепь, годная скорей держать на привязи породистую собаку, а не карманные часы. Его маленькие глазки совсем сузились, а лицо приятно улыбалось. Он подошёл к Уляше, потрепал её по щеке, говоря:

– Значит, салам-алыком! А? Красавица! – И он ни с того ни с сего засмеялся. Все обступили их. – А ну-ка, красавица, спой-ка нам что-нибудь там, по-вашему, да и тряхни – ну-ка! – со стариком!

Он щелкнул пальцем, прихлопнул как-то особенно каблуком и, подперев одну руку в бок, сделал шаг к Уляше.

– Я не умею плясать, – отвечала она робко.

– Ну, врѣшь, потешь нас, вот тебе и на монисты.

Старик протянул Уляше красненькую купюру.

Уляша стояла не шевелясь. Её обступили со всех сторон, затараторили:

– Да возьми же! Экая упрямица!

– Мало? Вот ещё.

– А этна и от меня маленько.

Ассигнации бабочками запорхали к ногам Уляши.

– Пусть распотешит нас, стариков. Эй, Стѣпка! – обратился старик к одному из офицеров. – Валяй плясовую!

Смеясь и ломаясь, офицер подошёл к роялю, ударил ухарски по клавишам, заиграл «казачка». Какой-то старик стал пристукивать каблуками, качать головой, покрывивать.

Уляша стояла, как вкопанная. Краска стыда и досады разлилась по её лицу, оливковые зрачки оторопело перебежали с одной фигуры на другую.

Колпакова, находясь рядом с Егором, улыбкою ободряла гостей.

– Да что же это! – вскрикнул вдруг кто-то. – Столбняк, что ли, на неё от радости нашёл. Али она нашими деньгами брезгует?!

Толпа вдруг загомонила. Колпакова приказала Уляше не жеманится, подобрать все денежные знаки с полу. И опять кто-то подал мысль, что если она не пела, не плясала, так должна отблагодарить за подарки. Больше всех подхватил эту мысль старик, пришедший окончательно в экстаз.

– Отблагодарить, отблагодарить! – закричали все.

– Надо ей, господа, предоставить самой, выбрать форму благодарения. Так сказать, индивидуальное обслуживание, – подсказала Софья Сергеевна.

– Поцелуйный обряд! – завопила молодѣжь.

В это время Егор что-то шепнул Софье Сергеевне. Она улыбнулась и пошла к выходу из гостиной. Увидев удаляющуюся фигуру Колпаковой, Уляша решила воспользоваться заминкой. Но едва сделала несколько шагов к двери, за ней бросились два лакея и вытащили на середину комнаты. И, жестко взяв её под руки, поочерѣдно стали подводить к мужчинам, которые бесцеремонно брали руками её голову и целовали прямо в губы.

Пытка жаждой была окончена. Уляша, горько униженная таким деянием, спавшая с лица, пошатываясь от усталости, вышла из гостиной.

Я в тот же день, ночью, написала письмо матушке, описав всё в подробностях о первых часах нашего пребывания в доме Колпаковых, прося её как можно скорее огрaдить Уляшу от оскорблений и вернуть в наш дом.

В Москве заговорили о красавице-черкешенке, которая служит Колпаковой. Каждый день наезжали гости, и Софья Сергеевна с торжествующей улыбкой выслушивала растачиваемые похвалы её уму и искусству приобретать редкости.

Один из почѣтных гостей Колпаковых, князь Т., старик лет под девяносто, заморожено глядя на Уляшу, шамкая губами, говорил:

– Вы, дорогая Софья Сергеевна, приобрели такой перл, который ценить надо на вес золота. Если бы я был моложе, не прочь был бы тогда купить её на таких условиях.

Колпакова выразительно засмеялась. Он целовал её руку, затем подошёл к Уляше, потрепал по щеке и сказал:

– Красавица!.. Огонь, огонь... обожжёт!

Это очень польстило самолюбию Колпаковой, придала ей важную осанку, и она чуть ли не каждый день выслушивала от князя одну и ту же похвальбу.

Глава IX

Сколько оскорбительных предложений, упрёков и намёков пришлось вынести Уляше в доме Колпаковых! И, как мне тогда казалось, все, начиная с самих хозяев и кончая последним гостем, все считали делом простым, обыкновенным подобные выходки с крепостной девушкой, не допуская даже мысли, что нежное существо имеет право ограды от оскорблений.

– Не она первая, не она последняя, – говаривали в девичьей. – Мы не хуже её были, да такого счастья не было нам.

– Вот ещё, какая неподатливая! – удивлялись офицеры, нисколько не стесняясь Колпаковой, которая была в гостиной и могла слышать. – Так надо нам, господа, приступом её взять... Да-да, приступом, по-военному!

Все дружно смеялись и подхватывали в один голос:

– Приступом, господа, приступом!

– Эта дева, любезный майор, южной закваски, азиатка: кровь огнём бежит, что пожар. Страхом-то ничего не добьёшься. Не трусливый она человек: сама всадит кинжал по самую рукоять, – говорил Колпаков, поглаживая свою окладистую седую бороду. – Побарски, с лаской скорей возьмёшь.

– Не мешает и то, и другое использовать.

Сама же Колпакова каждый раз, как замечала устремлённые взоры Егора на Уляшу, подзывала её к себе и внушительно говорила:

– Смотри, не забывай моих слов, сказанных тебе в деревне. Ты меня хорошо понимаешь? Иначе я заставлю тебя жестоко в этом раскаяться.

Уляша слушала Колпакову и не понимала, к чему относятся её слова. Егор же, слыша предостережение мачехи, смеялся и ещё более смотрел на Уляшу, как на жертву, шутил с ней. И таким образом доводил до такого состояния Колпакову, что она, возвысив голос, прогоняла Уляшу в её комнату и на другой день делалась взыскательна до придиричivosti. Уляша задумывалась, часто плакала, не зная причины, вследствие которой на неё нападала Колпакова.

Один только человек нашёлся в барском доме, который с первого дня приезда Уляши любил её и жалел. Это кондитер Фёдор, лет двадцати пяти, красивый, стройный, любимец Софьи Сергеевны. Хотя он и являлся крепостным Егора, хозяйка, ценя его услугу, платила жалованье. Жилось ему у Колпаковых хорошо, его все любили. И когда мы приехали из деревни, то я не раз слышала разговор Колпаковой с Егором, что пора женить кондитера.

Но дни, недели проходили, а Фёдор всё оставался холостым.

Однажды, накануне праздника, Колпакова уехала к всенощной, не взяв с собою Уляши. Я тоже отказалась. Мы сидели у неё, вели тихую беседу. Вдруг в соседней комнате, которую занимала распорядительница дома, или попросту Саввишна, послышался шумный разговор.

– Да из-за чего ты так хорохоришься-то и как ёж щетинишься! – возвышала голос Саввишна. – Что она – барского рода, что ли, какого? Нынче и барышни-то не прочь любовника завести, а не то, что наш брат крепостной, да ещё такого красавца, как наш молодой барин.

– Ну и владей им. А Уляшу не трогайте, не таковская. Вижу, вы её совсем замучили, – взвился мужской голос, принадлежащий Фёдору. – Некому её тут защищать, так я заступлюсь.

Саввишна звонко засмеялась.

– Ах, ты, дурак неотёсанный! Разве она «не таковская»? – передразнила она его. – Да что в ней такого особенного? Кожа да кости.

– Да, не таковская. И никто, никто пусть не смеет её трогать! Ух! Разнесу!

В комнате что-то стукнуло и зазвенело.

– Тише, тише, – осадила Саввишна. – Больно уж ты прыток, как я погляжу. Жди: ишь полюбилась молодому барину. Мало вас из-за девок-то в солдаты ушло? Пойдёшь и ты.

– Ну, что ж, пойду. Но ему не спущу. Не посмотрю, что барин-гусарин! Семь бед, один ответ

– Ах ты, разбойник этакий! Пстой, пострел. Вот расскажу всё барам, закукарекаешь!

– Не пискну, будь покойна. А Уляшу в обиду не дам. Пусть только посмеет её тронуть. Уж я его трягну...

– Никак полюбилась она тебе?

– А что? Люблю, а что в том такого?

Услышав такое признание за стеной, Уляша вздрогнула и покраснела. Лицо стало сразу осмысленным, светящимся. А потом вдруг сделалась, весёлой, разговорчивой, будто со словами Фёдора в её судьбе что-то в раз переменялось.

Я смотрела на неё с удивлением, хотела расспросить, чтобы это значило, как вдруг в соседней комнате опять раздался резкий голос Саввишны:

– Хорошо, что она уехала с барыней в церковь, а то я бы тебе доказала, как не смеет барин тронуть. Недаром к нему приехали Хвостов и Зотов.

Ещё произносились какие-то обещания, смысл которых мы не могли разобрать. Короче говоря, пошла ругань. Мы от испугу зажали уши, вопросительно поглядывая друг на друга.

Так прошло несколько минут. Когда мы вновь навестили уши, было уже тихо. Вдруг раздался звонок из будуара Софьи Сергеевны, проведённый прямо в комнату Уляши. Она кинулась из комнаты на зов, а я заторопилась в детскую.

На другой день, утром, когда мы с Уляшей зачем-то вошли в девичью, Саввишна была там и жаловалась на боли в пояснице. Завидев нас, она обернулась к Уляше, сердито спросила:

– В какой церкви ты вчера была с барыней?

– Никуда я не ходила с барыней, – ответила Уляша. – С чего ты взяла?

– Да так... Где ж ты вечер-то была? – удивилась та, враз насторожилась, позеленев от досады.

– У себя в комнате сидела.

– Так ты... - Саввишна подобно змее уставила на неё узкие черные глаза и резко бросила: – Так ты, выходит, всё слышала?

И опрометью выбежала из девичьей. Девушки посмотрели ей вслед, переглянулись и затараторили:

– Ну, девоньки, теперь держитесь. Вишь, стрелой полетела к барыне. Насплетничает с три короба. А ведь это она тебя приревновала к Фёдору. Он вчера весь день с Саввишной ругался из-за Уляши и, кажется, поколотил её. Потому-то с утра на спину и на голову жалуетя!

Девушки разом засмеялись, и продолжили мыть ей косточки:

– Ещё бы! Чай жаль такого молодца упускать. Кажется, уж года два всё собирается за него замуж. Шубу енотовую ему купила. А в прошлом лете, когда господа уезжали за границу, часы серебряные вручила. Всё прельщает его жениться на ней. А он хоть подарки и принимает, а хомут на шею не спешит одеть.

– Да она ведь в матери ему годится, – отозвалась Стеша, сестра Фёдора.

– Ах, ты, Стешенька! Где ещё сыскать такую богатую невесту твоему брату? А у неё, это уж точно, с тыщонку в банке лежит.

– На что ему её деньги? Он и сам заработает. А с деньгами не корысть такого дьявола повесить на шею...

Людских пересудов не переслушать. Мы с Уляшей взяли то, что нам было необходимо, и ушли к себе. Но не успели переодеться, в комнате раздался резкий призывный звон колокольчика. «Ну, – подумала я, – что-нибудь, да не так. Видно, Колпакова сильно вне себя, раз колокольчик, заливаётся, призывая бесправное существо».

Уляша задала стрекача. Я тоже собралась спуститься вниз, как в комнату впопыхах вбежала девушка Наташа и попросила меня немедленно прибыть к Софье Сергеевне.

Войдя в её будуар, я поклонилась. Колпакова сидела на мягкой бархатной кушетке и нервно барабанила пальцами по мраморному столику, стоявшему около ног.

Она подозвала меня к себе ближе и принялась расспрашивать, как я провела время без неё, когда она была в церкви.

Я рассказала.

– Это вздор! – резко заговорила она. – Разве ты была одна в комнате?! Саввишна не единожды навещала вас, и всегда заставляла тебя одну.

Я оторопела, слыша возмутительную ложь, не понимая, к чему клонится дело. В чём моя вина, если бы даже была одна в комнате?

– Это что-то странное, дурное творится в нашем доме, – продолжала Колпакова, всё более и более возвышая голос. – Это у вас там, в Анапе, может быть, позволяли бегать туда, куда ей даже запрещено нос показывать. А у меня этого нельзя... Я думала, что ты разумница, и по просьбе матери взяла тебя к себе погостить. А ты вон что делаешь?! Потакаешь слабостям Уляши, отпускаешь её, бог весть куда, а сама говоришь, что не знаешь.

Дальше вынести обиды я уже не смогла: из глаз моих брызнули слёзы. Не понимая того, что мой поступок могут счесть за вздор, поведала о том, как мы с Уляшей слышали в комнате разговор Саввишны с кондитером Федором и были удивлены их скандалу. Более того, рассказала об экономке, позволившей себе ряд некорректностей в отношении с Уляшей, о её преследовании Егора ещё в деревне... И чем дольше говорила, тем больше Колпакова, видимо, успокаивалась и начинала улыбаться. В конце концов, она притянула меня к себе за руки, поцеловала и созналась, что необдуманно подозревала меня во лжи. И, осыпав ласками, тут же объявила мне, что позаботится составить счастье Уляши с Фёдором и выдать за него замуж.

Но, несмотря на то, что Уляша приобрела сильную покровительницу в лице Софьи Сергеевны, это не мешало Егору преследовать её своими назойливыми ласками, от которых она не знала, куда деться.

Однажды старшие Колпаковы уехали на какой-то званый вечер. Мы с Уляшей засиделись по обыкновению в своей комнате и из предосторожности заперли дверь на ключ. Уже пробило одиннадцать часов. Вдруг по коридору раздались шаги нескольких человек и весёлый говор. Громче всех вещал Егор.

И вот вся буйная пьяная компания подошла к нашей двери и остановилась.

– Отопри, Уляша, мы к тебе в гости пришли, – заговорил Егор, потрясая за ручку дверь.

Мы молчали, потушив свечу.

– Уляша! Слышишь, отопри, пусти или мы дверь выломаем!

Все загомонили за дверь, филёнка затрещала под сильным напором нескольких рук. Я испугалась и закричала.

– Кто это там орёт? – грубо спросил голос, в котором узнала майора Н.

– Ах, чёрт возьми! – заговорил сердито Егор. – Я забыл, что тут с ней Вера, тёткина девчонка.

– Ну, так что же: мы ей вреда не сделаем, – заявил майор Н.

Начали совещаться.

– Не всегда от лишнего бревна можно избавиться, – сказал сонливым и заплетающимся языком Николай.

Они ещё с минуту постояли около двери, попинали её ногами и, несолоно хлебавши, убралась восвояси.

Не раз с сердцем говаривала Саввишна Уляше, что только из-за боязни огорчить барыню терпит, а то бы давно сбила спесь с неё. А то «вишь ты, какую цацу из себя строит, а по-моему – тьфу!..» – и плевала в её сторону.

Уляша по обыкновению молчала. Но однажды не стерпела. Лицо её покраснело, губы задрожали, глаза, словно два раскалённых угля, засверкали. Остановившись перед Саввишной, она что-то хотела сказать, но в это время с её головы упала пунцовая, шитая серебром, кабардинка, подарок Егора и Уляша, выйдя из себя, на её глазах затоптала дорогой подарок и отбросила ногами в сторону. Саввишна, испугалась, опрометью бросилась в коридор, споткнулась обо что-то и кубарем скатилась вниз по лестнице.

Всё ночь не спала Уляша, а за дверью раздавались тяжёлые стоны Саввишны. На другой день экономка, жалуясь на спину, не вставала с постели. Егор не отходил от Софьи Сергеевны, которая узнав о вечерней сцене, осталась весьма довольной.

В тот же день Фёдор попросил у Софьи Сергеевны позволения жениться на Уляше. И Колпакова согласилась. А вот Егор, под разными предлогами, долго не давал своё «добро». И только на четвёртый день, войдя в гостиную, где собралось всё семейство Колпаковых, позвал Фёдора и Уляшу и торжественно объявил им, что они жених с невестой, что в день свадьбы оба получают вольную. Радости и благодарности со стороны влюбленных не было конца.

– Кланяйтесь в ноги-то, господам, за такую милость, – говорила тихо Саввишна, толкая Федора и Уляшу.

И они с радостью поклонились в ноги Колпаковым.

– Зачем это? Не надо, – останавливала Софья Сергеевна. – Я отдаю за Федора замуж Уляшу только с тем, чтобы она не покидала своей обязанности в моих комнатах.

Уляша совсем ожила. Свежая, подвижная, она всех приводила в восторг. Теперь уже несколько не конфузилась, и по первой же просьбе пела свои национальные песни, в угоду собравшимся старичкам-купцам отплясала черкесский танец. Она кружилась, а гости любовались её изящными, грациозными движениями. Некоторые из старичков, смеясь, постукивали каблуками, передёргивали плечами, будто желали пуститься в пляс.

Никогда она не была так хороша, так весела, как теперь, когда сделалась невестой Фёдора. Егор стоял в амбразуре окна и, глядя на кипучую, искромётную Уляшу, досадливо щипал свои усы...

Николай, поравнявшись с Егором, улыбнулся и с ехидцей заметил:

– Ну что, обжётся?

– Посмотрим, посмотрим!.. – и топнул нетерпеливо ногою.

Николай громко засмеялся и отошёл прочь.

Колпакова с почтенным князем Т. вместе пообещали дать молодым благословение.

От доброты ли сердечной, ради ли тщеславия, но зная, что Москва о благодущии её протрубит из края в край, Колпакова с утра до вечера объезжала лавки в поисках имущества, необходимого невесте при выходе замуж, закупала вина, продукты, фрукты. Одним словом, трудилась без устали, суежилась до упаду с тем, чтобы свадьбу справить на широкую ногу.

И вот у Уляши появился дорогой подвенечный национальный наряд, весь из белого атласа, обшитый золотыми галунами, вытканная шёлковая фата. Князь Т. привёз жемчужные нити, серьги и т. д. и т. п.

Саввишна вся выходила из себя, что енотовая шуба и серебряные часы, прежде подаренные Фёдору, не способствовали женитьбе на ней. Свою досаду она на каждом шагу вымещала на Уляше. Дворовые девушки тоже все косились на неё, завидуя выпавшему счастью. Одна Стеша, сестра Фёдора, была рада счастью, как снег на голову, свалившемуся на голову брата.

Прошло три недели. Хлопоты окончены. Приданое готово, назначен день свадьбы. Софья Сергеевна отдала приказание Саввишне, чтобы для молодых был устроен обед, и вся дворня присутствовала на нём. А ещё, чтобы отвела две больших внизу комнаты для проживания молодых.

Накануне свадьбы Уляша укладывала в сундук своё приданое и вполголоса напевала черкесскую свадебную песню. А мы со Стешей со смехом подтягивали ей.

В комнату вошла Саввишна, стала пилить:

– Ну что, укладываешься? Вишь, какое счастье на твою долю выпало. Без году неделю у нас, а нажила больше, чем мы в двадцать лет.

– Я заслужу всё это господам с моим Фёдором, – отвечала радостно Уляша.

– Заслужишь, заслужишь... А сейчас иди к барину, зовёт тебя.

– Мне некогда. – И, обращаясь к Стеше, попросила: – Сходи, голубушка, узнай, что барину нужно.

– Не Стешку зовут, а тебя! – сердито крикнула Саввишна.

Слово за слово, Уляша отказалась идти, а Саввишна горячилась, обозвала её неблагодарной. И вдруг объявила, что если она не пойдёт, то барин приказал ей в таком случае напомнить, что не позволит Фёдору жениться.

Руки у Уляши опустились. Она встала с пола, на котором сидела, укладывая в сундук своё приданое. И, уставя пристальный взгляд на Саввишну, хотела что-то сказать, но вдруг затряслась и заплакала. Стеша и я подошли к ней и усадили на стул.

Саввишна выбежала из комнаты. Пока я возилась с Уляшей, обещая сейчас идти к Колпаковой и всё рассказать, на пороге показался камердинер Егора. Его толстое, гладко выбритое лицо плутовски улыбалось.

– Барин прислал сказать, – начал он, – не верить Саввишне: она всё врала. Он разругал её, а тебе велел сказать, чтобы ты без всякого стеснения приготавливалась. Послезавтра будет свадьба. Фёдор уж комнаты свои новые убрал. Я сейчас был у него.

Уляша недоверчиво посмотрела на камердинера.

Вечером пришли гости. Пили, в карты играли, шутили, радуясь, что справляют Уляшин девичник. Егор был необыкновенно весел, трунил в присутствии Софьи Сергеевны, как Саввишна напугала Уляшу, вместе рассматривали Уляшин свадебный наряд.

Наутро пришло письмо от матушки. Она радовалась и благословляла Уляшу на новую жизнь. Писала про Степана: что он после её свадьбы, летом приедет посмотреть на её счастье. Дети прислали ей денег на свадьбу. Читая письмо, мы вспоминали всю жизнь Уляши с первого часа вступления в наш дом. Переходя от одного события к другому, мы видели, как мало радостного выпадало на долю её. Уляша делалась всё грустней и, наконец, заплакала.

Какое-то тягостное чувство охватило её, и почему именно теперь – в этот день, когда она готовится вступить в новую жизнь с любимым человеком. Припоминалось одно только грустное, тяжёлое, пережитое ею. Может, предчувствие чего-то недоброго наводило её на эти воспоминания?

В тот же день вечером, накануне свадьбы, Колпакова приказала Уляше одеться хорошенько и повезла её с собою в театр. Играли что-то новое. Театр был полон.

Но когда заметили в ложе Колпаковой черкешенку, то все бинокли направились не на сцену, а на нашу ложу. Это льстило самолюбию Колпаковой; она улыбалась и весело кивала на поклонны, сыпавшиеся ей со всех сторон.

Вернувшись из театра, я пошла к себе в комнату, а Уляша принялась раздевать Колпакову.

Я уже успела раздеться и лечь в постель, а Уляши всё ещё не было. Наконец, утомлённая в продолжение дня, да был уже и поздний час, я, сама того не замечая, не дождавшись Уляши, заснула.

Вдруг какой-то шум, беготня по коридору и тихий говор разбудили меня. Первое, что бросилось мне в глаза, – Уляши ещё не было в комнате. И когда опять раздался грохот, я проворно соскочила с постели, накинула платье и выбежала в коридор.

– Истечёт кровью! Скорей! Скорей! – кричал кто-то.

Я испугалась и вбежала в девичью – там никого не было. Я кинулась вниз по лестнице – там, в нижнем коридоре, происходила страшная суматоха. Вся прислуга куда-то убегала и прибегала. Все были озабочены чем-то, на ходу перекидывались словами друг с другом. Прижавшись к стене, я хотела уловить хотя бы что-нибудь, из чего могла бы узнать, что именно произошло. Кругом искала глазами Уляшу, но её нигде не было. Наконец из отворённой двери кабинета Егора вышел в домашнем сюртуке Николай; лицо его было бледно. Он что-то спросил у проходившего мимо лакея и опять ушёл в кабинет. Меня мучило какое-то тяжёлое предчувствие, любопытство узнать, что такое случилось и желание видеть поскорее Уляшу, но я боялась тронуться с места. «Увидят – прогонят в свою комнату, и тогда совсем ничего не узнаю», – думала я и оставалась на месте, никем не замеченная. Через несколько минут пуще прежнего забегали мимо меня. По коридору торопливой походкой прошли сам Колпаков, бледный, взъерошенный, и домашний доктор. Все что-то на ходу говорили. Когда они просочились в кабинет, камердинер стал на страже захлопнувшейся двери.

Мимо меня пробежала Стеша; глаза были красные. Я догнала её и, схватив за руку, тихо спросила, что случилось, не видала ли она Уляшу.

Вместо ответа, Стеша тихо заплакала и, едва переводя дух, проговорила:

– Её уж нет, милая барышня, не вытерпела посрамление – зарезалась.

Я едва не упала на месте.

– Где? Где? Поведи меня к ней, милая Стеша! – молила я её.

– Там, – указала она мне рукой на дверь кабинета Егора, – там все они. Она тоже и его ранила. Говорят, может, и умрёт. Собаке – собачья смерть была бы, – добавила она, закрывая лицо фартуком и продолжая тихо рыдать.

Никогда во всю жизнь не забуду я этого ужасного дня, который потряс меня и заставил всеми силами моей души возненавидеть крепостное право.

Меня скорее внесла, чем ввела, в девичью Стеша и усадила на кровать. Я не плакала, а грудь мне так сильно сдавило, что я едва могла дышать.

В это время зачем-то в девичью вошла Саввишна.

– Уйди! Уйди, змея! – крикнула ей Стеша. – Погубила ещё одну душу. Как-то явишься туда-то, обступят тебя все загубленные тобою и предстанут перед Богом! Мой сокол-то, Федюшка! Что с ним будет теперь! Не женился на тебе, ведьме, так ты за это погубила её. Прочь! Уйди, или один конец, как и ей, бедной. Разобью тебя, старую дьяволовку! – И Стеша бросилась к Саввишне, но та в это время ловко шмыгнула в дверь и захлопнула её за собою.

Стеша упала на сундук и, громко причитая, плакала.

Как я не просила сказать мне всю правду о случившемся, узнала только то, что Уляша нанесла своим кинжалом Егору больше десяти ран и затем – никому не было известно с точностью, – сама ли себя заколола Уляша, или, в порыве злобы, убил её Егор.

Камердинером Егора все в доме были подняты на ноги. Приехал доктор и полицейский. Колпакова лежала в обмороке.

На другой день, вечером, отвезли Уляшу на кладбище, поставили гроб в церкви, а на утро схоронили, как умершую каким-то скоропостижным образом. Фёдора вскоре отправили в уездный город С., около которого было недалеко имение Егора, и там же, без очереди, сдали в солдаты. Бедную Стешу сослали в деревню на птичий двор. Старик Колпаков так умело, искусно повел дело о таком варварском, возмутительном поступке, что оно не распространилось дальше дома Колпаковых. И ничего удивительного в том нет: все дворовые были крепостными. А значит, подневольными, загнанными людьми, которые боялись не только что-то рассказать про это где-нибудь в другом месте, а даже вскользь упомянуть о нём. Ко всему было строжайшим образом запрещено говорить даже в людской про настоящую смерть Уляши. И опять же под страхом быть отданным не в зачет в солдаты или сосланным в самую дурную деревню Колпаковой на вечное житьё.

Все боялись и молчали.

Егор прохворал короткое время, выздоровел и, как ни в чём не бывало, принялся по-прежнему вести свою позорную жизнь, заедая чужую.

В семье Колпаковых и самых близких, задушевных друзей их, которые знали всё подробно, никто не осуждал поступок Егора, а находили очень простым и обыкновенным. Все в один голос говорили:

– Уляша – дура. Не она первая, не она последняя.

Один Николай что-то было заговорил против этого. Но на него никто не обратил внимание. Да и к чему уже было!

Через несколько дней я уехала домой, к матушке. Весть, привезённая мною, сильно поразила всех. Матушка слегла и прохворала недели две, упрекая себя за смерть Уляши.

Но что толку в позднем и бесполезном раскаянии? Уляша была уже невозвратима, и невозможно было смыть того позора, который ей был безнаказанно нанесён.

Степан не пережил скоропостижной смерти Уляши и через несколько дней умер.

*Публикуется под редакцией
Б. Шереметьева, В. Фокина*



ЗОЛОТАРЁВ Вячеслав Дмитриевич – родился 13 февраля 1938 года. Публиковался: в краевых и местных газетах, альманахе «Кубань», коллективном сборнике «Горизонт» (1974 г.). В 1976 г. в Краснодарском книжном издательстве вышел в свет сборник его стихов «Зелёный факел». С 2001 года печатается в журнале «Родная Кубань». Редактор-составитель альманаха литературно-художественного объединения «Парус».

Член Союза писателей России. Член Союза писателей г.-к. Анапа.

**СНОВА УЧИТЬ
ЭТИ «АЗ, БУКИ, ВЕДИ...»**

Вспламенился закат и зачах!..
Света нет – буду ждать при свечах.
Эта ночь, словно день в темноте,
Не имела души и лица.
Кто-то с улицы в окна свистел,
Дождь плясал на порожах крыльца.
Не закончилась радость добром.
Больно море за домом штормило.
Чайка плакала в небе сыром,
Растворяясь во мгле белокрыло.
Ничего я не ждал и не жду:
Потерялась в дороге награда.
Не делить же с любимой нужду,
Поделиться бы радостью надо!
Только где её, светлую, взять?
Погордился я милою мало!..
Научила нас Родина ждать,
Да и то одолела усталость,
За рулём, на ходу, на возу,
Над застывшей в моленье рукою...
Кто родился в России в грозу –
Не поверит в минуту покоя!

Моя сирень не отцвела!
Ромашкой не покрылось поле.
Рассвет прозрачнее стекла.
И утро, как звоночек в школе.

Я поднимаюсь и – живу!..
И поклоняюсь захоластью,
За то, что в хате пахнет Русью,
Пью чай и слушаю Москву.

Как грезил прежде я тобой!
Москва! Москва! Державный голос!
Увы! Могучий мегаполис
Затмил былых курантов бой!

На берегах могучих рек –
Спасибо Родине и Флагу –
Несокрушимою отвагой
Страдает русский человек!..

И, слушая колокола,
Я обретаю святость воли!..
Сирень цветет, как не цвела,
Как не цвела ромашка в поле...

ПОБЕДА

Диких акаций живые заборы
 Хатами светятся, а за углом –
 Степь нараспашку! Такие просторы –
 Не обозреть, не объехать верхом.
 Конь фронтовой не споткнётся о камень!
 Скатертью – поле: седлай и скачи!
 С дальних курганов веет веками...
 Всплеском зарницы мерцают мечи.
 На берегу почерневшая лодка.
 У переправы отеческих мест
 Ствол уронила в кусты самоходка –
 Пулями высечен свастики крест!
 Снова учить эти «аз, буки, веди»,
 Снова у пахаря – замкнутый круг,
 Это не я ли, наследник Победы,
 Пули собрал, что повыпахал плуг?

Трёхлетний голос дня Победы
 Переходил из смеха в плач.
 На восемь ртов перед обедом
 Один румянился калач...
 В семье лелеяли ребёнка –
 Ему и бублик, и хвала,
 Победа – младшая сестрёнка –
 Хозяйкой за столом была.
 Ещё бедны мы, и не скоро
 Окрепнет голос и жизнь,
 Но скатерть, бранная узором,
 Уже светилась для неё.
 Дарила пряники ржаные,
 Забвеньем покрывала страх,
 Двоюродные и родные
 Её носили на руках!..
 Порой за праздничным обедом
 Лишь для неё старался – пел,
 И пусть я старше был Победы,
 Но только с нею я вырос!..
 Бывало, далеко уеду,
 А память за душу берет:
 «Как там здоровье у Победы?..»
 «Болеет часто, но – живёт!»

СОНЕТ

Опасен мир душевной благодати!
 Идёшь навстречу утренним лучам,
 В прохожем видится приятель
 И нет нужды по мелочам.
 Воспрянул город, приходя в движение:
 Здоровый сон здоровье породил.
 Исчезла тень отеческих могил
 И утряслись былые потрясения.
 Свежи цветы и мысли поутру,
 Светла любовь у пробужденья,
 И в сердце укрепилось убежденье:
 Жива Россия, значит, быть добру!
 И оттого, возможно, и не кстати,
 Опасен миг душевной благодати!

Июнь и сочен, и здоров,
 Июнь, возьми мя с собою.
 Я слышу твой небесный зов
 Идти неведомой тропею.
 Цветут на Родине хлеба!
 Пшеничные поля, как море,
 Где тишину рвала пальба,
 И над землёй витало горе.
 Рассеялись печаль и грусть,
 И я пронзительно впервые
 Почувствовал, как манит Русь
 В свои просторы вековые.
 Тревожно мне! Но я готов –
 Возьми, июнь, меня с собою,
 И я покину отчий кров –
 Пойду Отческой тропею!..

Здравствуй! Я вернулся!
 Пой, баян, играй,
 Величая Русью
 Милый сердцу край!
 Счастье русской доли –
 После чёрных дней
 Затерялось в поле
 Спелых ячменей.

Ставропольским шляхом
 Вдоль Кубань-реки
 Век несли без страха
 Службу казаки:
 Берегли станицы
 От набегов «тьмы»,
 Горсть родной землицы
 Брали от сумы...
 Колосится стебель
 Солнечным лучом,
 А журавлик с неба
 Возвратится в дом.
 Не смотри же с грустью
 На рубцы от ран!..
 «Здравствуй! Я вернулся!
 Пой судьбу, баян».

ХУТОР КОЧУБЕЙ

Среди подсолнечных степей,
 В садах фруктовых утопая,
 Слыл островком земного рая
 Кубанский хутор Кочубей.
 На родине героя – Мать
 Легендою была согрета:
 Две дони – Тишь да Благодать –
 Цвели под флагом сельсовета.
 Из всех библиотечных книг
 Был «Кочубей» на первом месте.
 Воспетый автором комбриг
 Слыл маковкой армейской чести
 Войны гражданской. Не вандал,
 Борец за счастье новой власти,
 Обронзовевший, восседал
 На жеребце буланой масти.

И чудилось: пылит за ним
 Гроза вражды неугасимой –
 Тачанка!
 И строчит «Максим»
 По белой гвардии России!..

Поскребу по сусекам,
 По извилинам дна,
 Из двадцатого века
 Наберу горсть зерна.

(А ведь были когда-то
 Все сусеки полны
 Урожаем богатым
 Хлебородной страны!)
 Вот и всё, что осталось
 Старцу русскому – мне:
 Это горсточка-радость,
 Это – мудрость в зерне.
 И несут меня кони
 Под ущербной луной,
 И слетает с ладони
 В поле жизни зерно.

На оттаявших пашнях полей
 Свет небесный собрался в ручей.
 Влажный ветер накинуд узду
 На бегущую в степь борозду.
 Полевая дорога пуста
 От зари да калины куста,
 От далёких станичных садов
 До лазурных Кавказских хребтов.
 И подковой звенит небосвод,
 Казака зазывая в поход:
 За Россию, её рубежи!
 Буйну голову в схватке сложить!
 Свет небесный! О, Родина-мать,
 Помоги пустыри распахать,
 Чтобы к сердцу тянулась всегда
 Полевая твоя борозда!..

Философия зрения
 На родные места
 У бродяги и гения
 До смешного проста:
 Говоря о народе,
 Понимать – земляки,
 Не бросать сор в колодец,
 Оживлять родники,
 Делать дело – не дельце,
 Помня святость Креста,
 И – простите! – как Ельцин,
 Не ложиться на рельсы
 И не прыгать с моста.
 Бог услышит моления
 Тех, в ком совесть чиста.
 Философия зрения
 По-крестьянски проста!

Не гадаю: так ли, нет ли?
 Но, тревожа боль страниц,
 В синем небе выются петли
 Каркающих чёрных птиц.
 Предвещают наводнения?
 Что ж ещё? О, край родной,
 Верь в святое песнопенье:
 «Я казак ещё живой!».
 Выются вороны, воронкой
 Проникая в глубь простора.
 Над родимую сторонкой
 Непогода грянет скоро:
 Налетят лихие ветры,
 Зашумят сады и лес.
 Эх, природные приметы –
 Повеления небес?!

СОНЕТ

Сегодня плакал виноград.
 Сочась, обрезанные лозы
 Роняли в помрачневший сад
 Прозрачные живые слёзы.

В потоке солнечных лучей
 От арки дня до небосвода
 Звучала граями грачей
 Весна двенадцатого года.

Словно февральское окно,
 Разверзли небеса России –
 Грядущее Бородино
 Живым и павшим огласили!..

И видел я, и видел сад,
 Как горько плакал виноград.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В былое сожжены мосты –
 Лети, отпущенная птица!
 Мне помогают возродиться
 Осенней родины черты.

Я замечаю за собой
 Во мгле утраченное – ныне
 Слезу душе дарует иней,
 Искрясь над сникшею травой.

Моя калитка на лиман
 Открыта, лодка наготове,
 Рассвет ещё немногословен.
 Глубок воздушный океан.

И ненароком, как бы вновь,
 Чарует сердце красотой
 Природы время золотое,
 Благословляя на любовь.

БЕЗ ПОСВЯЩЕНИЯ

Я обожал (но прошлою весной)
 Черемуху, цветущую махрово,
 И только с ней, доверчивой, одной
 Беседу вёл в саду фруктовом.
 Я мимо яблонь проходил,
 Плечом ветвей не задевая,
 А ей на зорьке говорил:
 Цвети родная!..
 И гроздь белых рукой
 Волнуясь, трогал:
 Побудь, красивая, такой
 Ещё немного.
 Ты очень скоро отцветёшь
 И, слава Богу, не узнаешь,
 Что в мире существует ложь...
 Цвети, родная!..
 И я пьянел, и снова шёл –
 Ломать ей ветки...
 И голову ронял на стол –
 Уже в беседке.
 О, как судил себя я строго,
 Ломавшего творенье Бога.

ГРУСТНЫЙ СОНЕТ

Уходит время из-под ног, как свет
 Опавшего листвою заката.
 Тревожит не кончина, а расплата:
 Приходится за всё держать ответ!
 Мне одиноко – друга рядом нет.
 Один богат, высокая зарплата,
 А у другого власть, ума палата...
 Но мне печально, ведь в зените лет
 Не помогают нам ни злато и ни власть.
 Вот и звезда вечерняя зажглась
 Над гаснущей зарёю мирозданья
 И пробуждает чувство покаянья:
 – За всё и всех прости меня, прости!
 Кори, терзай... Но Родине свети!



ФОКИН Виктор Иванович – родился 21 октября 1939 года в г. Рудня Сталинградской области. Образование – высшее. Закончил Харьковский инженерно-строительный институт, факультет промышленного и гражданского строительства. Прошёл трудовой путь от мастера до управляющего строительным трестом. Последние 22 года – Генеральный директор проектного института. Заслуженный строитель Российской Федерации, поэт, прозаик. Автор 15 книг стихов, повестей, рассказов, песен. Участник 7 сборников псковских литераторов. Печатался в журналах: «Наш современник» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Север» (Петрозаводск), «Московский Парнас» (Москва), «Скобари» (Псков), в российских и областных газетах. Внесён в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова», лауреат премий: Всесоюзного общества «Знание», ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

Награжден медалями: «За заслуги перед Псковом», «За трудовую доблесть», «За долголетний добросовестный труд», знаком «Княгини Ольги» – основательницы г. Пскова. Член Международного Сообщества Писательских Союзов – правопреемника Союза писателей СССР. Член Союза писателей г.-к. Анапа.

ПРОЗРЕНИЕ

Не обольщай себя обманом,
природы глупый ученик,
ни блеском глаз, ни гибким станом
не отвратить старенья миг.

До срока этот миг прозрений
но Божьей милости сокрыт,
не ведая тревог, лишений,
наш ученик обут и сыт.

В коварный омут окунаясь,
забыв советы мудрых книг,
сквозь дебри жизни продираясь,
петляет глупый ученик.

А вот и осень золотая...
И с сожалением постиг,
что ничего ещё не знает
природы глупый ученик.

Приходит время покаянья и молитв
за то, что не по совести свершилось,
за все деянья мирных дней и битв,
за всё, что на глазах моих творилось,

за память, что о прошлом не берёг,
за леность, не проснувшуюся смелость,
за все ошибки жизненных дорог,
за то, чего от зависти хотелось.

За то, что оказавшись не у дел,
седая старость просит подаянья,
что сыновей своих недоглядел,
приходит срок молитв и покаянья...

Я знаю: в Царство Божье не войду –
был духом слаб и многогрешен,
не дай, Господь, сказать мне и в бреду,
что прожитою жизнью не утешен –

жил-про́жил каждый, как хотел-умел,
кому и как его судьба велела.
Я не успел свершить великих дел –
распорядился, видно, неумело

тем кратким мигом жизни, что дал Бог.
И только об одном в час расставанья
прошу, чтоб Он услышать мог
мою молитву-покаянье.

СИМВОЛ РОССИИ

Уж сколько лет поют берёзам оды –
они давно привыкли ко всему
и водят по опушкам хороводы,
не зная цену диву своему.

Им словно предназначено природой,
наперекор пиле и топору,
быть символом России и свободы,
принадлежа лишь кисти и перу.

УДИВЛЕНИЕ

Не исчезло чувство удивленья,
с каждым днём становится острее,
так велось с момента Сотворенья
и пребудет до последних дней.

Всё достойно чувства удивленья –
что знакомо мне и незнакомо.
Что ни встреча – снова откровенье,
что ни тропка – всё дорога к дому.

Буду жить и буду удивляться –
как прекрасен этой жизни лик!
А когда придёт пора прощаться,
удивит и сам последний миг.

ИКОНОСТАС

*Памяти бѣз вести
пропавших посвящается*

Мы бѣз вести пропавших хоронили
отцов-героев, защитивших нас,
и что бы всуе нам не говорили,
на стенах фото их – иконостас.

Сначала, веря в чудо, мы их ждали,
ведь чудеса свершались, и не раз,
но военкомы чаще отвечали,
что утешенье – лишь иконостас.

Мы возмужали, уж виски седые,
зато отцов не старят и года –
глядят со стен их лица молодые,
ещѣ не зная, что пришла беда.

Стареем мы, но подрастают внуки,
и в майский день, хотя бы раз в году,
я по веленью сердца – не от скуки –
к иконостасу внуков приведу.

Имѣн отцов не выбьют на граните,
но завещаю каждому из вас –
о прадедах вы память сохраните,
и сберегите мой иконостас.

ТРЕУГОЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО

Я не помню своего отца.
Горько, до отчаянья обидно.
Цвета глаз не помню и лица...
Ничего за далью лет не видно.

Глядя на оставшихся живых,
не забытых и судьбой, и властью,
помню «неизвестных» и родных,
положивших жизнь за наше счастье.

С ноющей тоской, десятки лет,
в память об отце храню я с детства
треугольный фронтовой конверт,
словно треугольное наследство.

СТЕПЬ

Расстелилась степь донская
между двух великих рек,
словно вольница святая,
для судьбы моей – разбег.

Чудо-степь, раздолье вволю,
нет ни края, ни межи,
словно шёлковое море,
цвета спело-жѣлтой ржи.

Зачарованное царство –
вольный ветер и ковыль,
да полынное боярство –
то ли небыль, то ли быль.

Под набегами была ты,
конь чужой тебя топтал,
звон калѣного булата,
раздаваясь, душу рвал.

Всё страдалница сносила –
хоронила сыновей,
алой кровью окропила,
пену белых ковылей.

Словно семя рассевая,
и подвластно злым ветрам,
развела судьба людская
нас по разным сторонам.

Но желаю, степь родная,
коль придётся умирать,
чтоб могла мне даль иная,
о тебе напоминать.

Как счастлив тот,
кто душу сбережёт,
достоинства и чести не роняя
и имя доброе потомству оставляя...
Чтоб это осознать –
вся жизнь пройдёт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Полусон, полубред, полночь,
а под утро пришло забытьё...
Сны, как странные рваные клочья,
это тело – совсем не моё.

Словно из кирпичей плохо слеплен,
всё болит, всё чужое во мне...
Я с кровати ползу, как из склепа,
где мне пытки приснились во сне.

Утро тихое – словно спасенье,
наважденье, уйди из меня.
Возвращаюсь в бытёе постепенно
в озаряющих отблесках дня.

Как ласкает дневное светило!
С облегченьем я сбросил саван,
с благодарностью тело платило
за сознание, и руки, и стан.

Сколько света и радости в жизни!
Дай мне, Боже, испить всё до дна,
не сравнить с нею пышную тризну,
даже пышная мне не нужна.

Отойди, сатана, и исчезни,
не смущай, человеческих дум,
солнце, брызни лучом по болезни,
поддержи и сознание, и ум.

Дай дождя нам, небесная крыша,
осуши, свежий ветер, волной.
Если слышит и видит Всевышний,
пусть пошлёт нам на землю покой.

Желающего двигаться вперёд
судьба, как провожатая, ведёт.
Кто манны ждёт,
бездействуя ворчит,
своё существование влачит.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА

Не светом радостного дня,
не пеньем хлопотуний-птиц –
мир начинался для меня
печалью вдовьих лиц.

Дымилась странно тишина,
Беззвучен плач седых ракет –
ещё вчера была война.
И груз её обид,

её непоправимых бед
ещё лежал вокруг на всём –
и чёрным был он, белый свет,
и серым – вдовий дом.

И хоть пришла весна,
звения на тысячи ладов,
мир был окрашен для меня
печалью бабьих слов.

Когда земля уже спала,
но отгорал ещё закат,
садились бабы у стола –
посумерничать – в ряд.

Война, война... И день за днём
они вспомнят-помянут...
Ох, горек, горек бабий дом,
в котором вечно ждут.

Заметней стала седина моя,
но, если кто-то скажет, что старею,
без ложной скромности отвечу:
«Нет, друзья,
пока я только матерю».

ПОД СТУК КОЛЁС

Неустанный стук колес...
Не сомкнуть мне веки...
Кто, куда и чьё увёз,
люди-человеки?

За окном бегут поля,
лес, столбы, откосы...
Эта странная земля –
сплошь одни вопросы.

Ты моя, но не моя,
раб я иль хозяин?
Реки чьи и чьи моря?
Что ж мы прозябаем?

Вышло: наше – не для нас,
и живём согбенно.
На меня огромный глаз
смотрит из Вселенной.

С сожаленьем смотрит он,
даже с укоризной:
«Что ж попрали вы закон
человечьей жизни?»

И куда несётесь вы,
клацая зубами?
Вам не выбраться из тьмы
с грязными мозгами.

Для любви, потомков для,
лишь одна такая,
только вам дана Земля
дивно голубая».

Монотонный стук колёс,
мне смежает веки...
Не сорвитесь под откос,
люди-человеки!

Вся жизнь была, как жаркий бой,
покой мне даже и не снился.
Нагим я в этот мир явился,
нагим уйду и в мир иной.

Хороший пастырь,
что заботливый отец –
пасёт и вовремя
стрижёт своих овец.
Он – противоположность
самодуру,
с овец своих
сдирающему шкуру.

ИСТОК

Родники вы мои, родники,
где водицу беру ключевую,
к вам с поклоном идут ходоки,
каждый день, как в обитель святую.

Даже корни у слов – род и ключ –
освещаются светом глубинным,
и ручей родниковый певуч,
подражает напевам былинным.

Зачинаясь с того родника,
словно силы земной набираясь,
разливается Волга-река,
в путь по русской земле отправляясь.

И с Россией – с Валдайских холмов
до Каспийского тёплого моря –
пробиваясь сквозь лихо веков,
делит звонкую радость и горе.

Дивно светел мой тихий родник,
исцеляющий святостью душу,
словно к сердцу земли я приник
и покоя её не нарушу.

«Вначале было Слово» –
все твердят. «Вначале – слово».
Что ж, утверждение сие не ново.
В защиту истины
я в спор вступлю отчаянно:
«Не слово было изначально, а молчание!»

Не вздумай только возомнить,
что ты способен распрямить
извилины судьбы капризной.
С рожденья и до самой тризны
всё предначертано судьбой –
до самой крышки гробовой.

У РУССКИХ МОГИЛ

В Сен-Женевьев-де-Буа, за Парижем,
замерло время, оно неподвижно,
мало машин и гуляющих мало.
Почки набухли в кустах краснотала...

Тихо в ухоженном «храме» могил.
Кто на далёкой чужбине почил?
Кто-то незримый идёт меж крестов,
вечный покой охранять их готов...

Хочется к ветхим надгробьям склониться,
перекрестясь, про себя удивиться,
имя известное вновь повторяя,
словно истории книгу листая.

Галич, Тарковский, Деникин, Колчак,
князь, адмирал, безымянный казак...
Сколько ж их здесь и по миру лежат?
Кто-то – изгнанник, а кто-то – бежал...

Рудик Нуриев... Богат небывало...
Словно прикрылся от всех покрывалом,
ярко горящим камнями и златом...
Что оттого праху грешного фата?

Скромно белеет у дерева крест –
Бунин Иван Алексеевич... Перст
непроизвольно – ко лбу и груди,
справа налево... Со скорбью глядит

взор немигающий. Крест и могила...
Вот где нашлась, где навеки почил
скромная гордость поэзии нашей.
Что ж, воздадим ему полною чашей.

Пусть все спокойно продолжат свой сон.
Пухом земля вам, и честь, и поклон,
вечный покой спящим, всем землякам...
Горько, что **здесь** низко кланяюсь вам.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Словно горькая слеза
льётся по утрам,
лижет жадная коса
срезы свежих ран.

Брызжет слёзушкой трава,
пала в вечный сон,
ведь коса всегда права –
только визг да стон.

Но продумал всё Господь,
даже этот путь,
жизнь вторую, словно в плоть,
смог в траву вдохнуть.

Став однажды на заре
сеном луговым,
обернулася в ведре
молоком парным.

Жизнь, словно чёрная дыра,
спрессована, непостижима.
Миг – и закончена игра
по воле сил неудержимых.
Потом душа покинет плоть...
А что же дальше, мой Господь?

Может, будет и у нас
светлый день и светлый час,
коль не станет снова власть,
как сегодня, врать и красть.

Как часто
с миною надменно осуждают,
мне кажется, лишь то,
чего не понимают.

**СИЛЬНЫМ МИРА СЕГО
(И НЕ ТОЛЬКО ИМ)**

Двадцатый век...

Земле не смыть всю кровь с лица
в век войн, борьбы, насилия и разврата,
век межусобицы, где сын шёл на отца,
держава – на державу, брат – на брата.

Устал весь шар земной... Родился новый век
надежд на мудрость, радость созиданья...
Ан нет, виток лишь новый.

Солнца свет поблек
от потрясений в хрупком мирозданье.

Всё изощрённей сильный слабых бьёт,
и войны – всё наглей и кровожадней,
природа стонет и спасенья ждёт,
защитники становятся продажей.

Земля нам кажется совсем не голубой,
и жёстче, и страшней её сопротивленью –
доколь терпеть насилие и разбой?
Уже последнее грядёт предупрежденье.

Окститесь, алчные, коль разум ещё есть,
вы, как слепые, рыщите в потёмках,
всего не выкачать, не выкопать, не съесть
ни вам, ни вашим алчущим потомкам.

Опомнитесь, жизнь – миг, и он – всего один,
короткий миг, на что же он истрачен?
Телец в нём был властитель-господин,
любой из вас лишь на него батрачил.

Своим сияньем он разум ослепил,
и жадность, словно раковая сетка,
безжалостно съедает ваш остаток сил,
не позволяя вырваться из клетки...

Не прорицатель я, но всё ж даю совет –
«быть начеку» – доверчивым потомкам,
чтоб через десять-двадцать,
может, тридцать лет
им по земле не странствовать с котомкой.

МИГ ВОСТОРГА

Разудалый вороной,
крепконогий, молодой,
над землёю стелется.
Конь игривый, озорной,
грива – чёрною волной
шелковисто пенится!

Разбудил мечту мою,
от восторга я пою –
разыгралась кровушка!
К шее, выгнутой дугой,
припаду, обняв рукой,
крепко, как молодушку.

Мы – единое-одно,
всё, что Богом создано,
без чинов-различия,
и несёмся над землёй:
ветер, я и вороной –
тройка необычная.

Ветер, конь мой, степь моя –
неизбывность бытия
и моё спасение.
Упаду в ковыльный пух,
стану пить полынный дух
всласть, до опьянения!

Нам чувство чести
прививали с детства,
что слава добрая
равняется наследству.

Что ж власть,
стремясь к наживе и забавам,
и славою торгует, и державой?

В БРЕДУ

Лежу под капельницей сутки
в каком-то странном полусне,
и никакие прибаутки
не помогают нынче мне.

Гляжу сквозь пелену сознанья...
Ольха да две сосны в глазах,
знакомы с детства три созданья,
как три свечи на образах.

Сетей рыбацких поволока,
забытый остров – семь дворов...
Я к жёлтым пятнам старых окон
легко спускаюсь с облаков.

Плыву по улице короткой,
ольха кивает, узнаёт,
знакомый голос, тихий, кроткий,
в знакомый дом войти зовёт.

Я проникаю в запах тмный,
пытаюсь глубоко дышать
и вижу молодую маму,
а позади – седую мать.

Одна присела к изголовью,
другая – рядом, на кровать.
Я удивлённо вскинул брови,
но ничего не смог понять.

Я воскрешаю мамин образ –
он расплывается в глазах,
и остаются только слёзы,
да три свечи на образах.

Любовь – единственная страсть,
что не выносит **прошлых** дней
и **будущих**. Лишь власть
минут **сегодняшних** над ней.

Возможно ль,
чтоб сошлись заря с зарёй?
Чтоб вечер с утром вдруг –
да повстречались?
Нет-нет! Им не дано судьбой
сломать закон природы вековой –
для встреч других
они предназначались.

Чтоб быть мужчиной –
мало им родиться,
им надо постоянно
становиться.
... А если хочешь
женщину любить,
позволь всегда ей
женщиною быть.

ЖЕНЩИНАМ (ПОЖЕЛАНИЕ)

Могу понять эмансипированный всплеск,
желанье окунуться в шум и блеск,
затмить по деловитости мужчину
и занять шикарную машину...

Одно я должен вам, любя, сказать:
«Не надо грудью амбразуру закрывать –
она природой, Богом и судьбой
для цели предназначена другой».

Всё как будто прошло,
мы расстались давно,
но бывают такие мгновенья,
будто зарева свет
вдруг ударит в окно,
в темноту моего настроения.

ПОЛЁТ ЗВЕЗДЫ

Вдруг однажды в ночи
рассечёт небосвод
след звезды, что начертан
был силою нечеловечьей.

Кем она зажжена
странным светом гореть
и лететь миг короткий
в Пути, называемом Млечным?

В кутерьме звёздных тел,
в том пространстве немом,
где царит лишь молчанье,
сковавшее всех бессердечно,

у звезды нет судьбы –
только жёсткий закон:
на мгновение вспыхнуть
и кануть во тьме бесконечной.

Но судьбе вопреки,
всем законам назло
всё летит, как летела,
к каким-то неведомым далям,

и однажды в ночи
вновь пронзит небосвод
след звезды над Землёй,
где её совершенно не ждали.

Что же ты краснеешь, как девчонка,
и, смутясь, не поднимаешь глаз?
Словно обнимаю стан твой тонкий
и целую в губы первый раз.

Не стесняйся ты своих морщинок
и волос с заметной сединой...
Я сцелую соль твоих слезинок
на щеках, что пахнут резедой.

Женщина – любимая, подруга,
и пред Богом праведным жена –
как трава зелёная для луга,
так и ты мне Господом дана.

БЕССОННИЦА

Жизнь моя – переполосица,
то улыбкой вдруг засветится,
то пойдёт наперекосяцу.

Не загадано нежданное –
белой скатертью застелется
предо мною поле бранное.

Вновь плывут воспоминания –
лик рукою перекрестится,
губы шепчут заклинание.

Взрывы, стоны и проклятия
отложились краской чёрною,
белой – слёзы и объятия.

Зоревой рассвет, признание
и далёкий путь-дороженька
в неизвестность-испытание.

Если наша жизнь – заложница,
Бог иль дьявол её выкупит?
Всё, что выстрадал, корёжится.

С гиком-криком, словно конница,
пронеслась – не остановится,
а со мной – моя бессонница
да очки на переносице.

КАК В ЖИЗНИ

Стоят бокалы на столе,
печальны и грустны,
в них пусто – никому и не нужны.
Но только в них вина налей –
полно отыщется «друзей».

Мне часто снятся странные собаки,
бездумные «питбули» – злые псы
с окалом страшным, что готовы к драке
у меченой мочою полосы.

Как будто им полей и леса мало,
где можно метить, нюхать и лизать,
чего всегда, везде и всем хватало.
Зачем теперь друг дургу глотки рвать?

И впрямь наш век помечен сатаной,
раз, позабыв, зачем создал Господь,
собрались псы над чистою рекою,
чтоб, обезумев, рвать и шерсть и плоть,

чтобы трещал хребет, хрустели кости
от выпущенной на свободу злости.
Хоть говорят – к добру сон про собак,
не верю я, что это добрый знак.

И ОСТАЁТСЯ ЛИШЬ НАДЕЖДА

Потеряв великую державу,
мы с аукционов продаём
по частям и оптом: нашу славу,
нашу гордость – как металлолом.

И медаль медалей– «За отвагу»!
Продаём и герб, и флаг, и стяг,
а взамен – то памперсы, то брагу –
срам страны великой... Как же так??

Веру продали за «сэконд-хенд-одежду»
а Любовь – за баксы по углам...
Не сумели лишь продать Надежду...
Лишь Надежда остается нам.



КЛЕБАНОВ Валерий Захарович – родился в 1938 году в г. Тула. Окончил Краснодарский политехнический институт, в 1968-69 гг. учился в Литературном институте им. Горького. Автор 10 сборников собственной лирики и 5 книг поэтических переводов (совместно с армяноязычным автором Ашотом Кочконяном). Печатался в журналах: «Кубань», «Родная Кубань», «Русский мир» (СПб), «Автограф» (Вологда), «Голос Амшена» (Ереван), «Молодая гвардия» (Москва), в российских и краевых газетах. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Александра Невского. Награжден: Почётной грамотой Правления СП России, медалью «За труды и просвещение» им. Н.В. Гоголя, Золотым орденом Международной академии культуры и искусства. Член Союза Писателей России.

Душа – сокровище живое;
в который раз, судьбу кляня,
ты среди грохота и воя
её выносишь из огня.

И, с благодарностью спасённых,
она – вдали от всех обид –
к ребру прижалась, как ребёнок,
и сладко дышит, словно спит.

Всё небо – в золотом овсе.
Как много света в душу льётся!
Я так стараюсь быть, как все,
но мало это удается...

Мои собратья! В этот час
подумал я в тиши вечерней:
а вдруг Господь нам отдал часть
и нимба своего, и терний?

Не скрипнет дверь под дружеской рукой,
не запоёт затопленная печь.
И навсегда потерянный покой
уж некому и незачем беречь.

К чему перо, и кисть, и мастихин?
И для чего среди боли и разлада
в твоей душе рождаются стихи,
как дети в той семье, что им не рада?

Жизнь наша – не длинной глотка,
и все же неуместны охи:
в неё – хотя и коротка –
вместились целые эпохи.

Сквозь времена судьба с судьбой
всегда аукнуться готовы:
в одной – Чернобыльская боль,
в другой – страдания Голгофы.

Хоть трепещу, Господь, но всё же дай
терзанья те, что заслужил по праву.
Дай пить и пить из тёмной чаши тайн
смертельную, но сладкую отраву.

Вновь душу озареньем подстегни,
измучай разум бденьями ночными...
Меня пустили по миру стихи
и если я богат – то только ими.

Души двигаются ощупью
в мире злобы и разлада.
Хорошо, хоть небо общее, –
нам делить его не надо.

Обойдемся звёздным светом,
остальное – тлен и прах...
Дух мой держится на этом,
как земля на трёх китах.

Меня учили – медлить вредно,
твердили мне – поменьше спи,
ведь за тобой несётся время,
как пёс, сорвавшийся с цепи.

Но не пойму я, что со мною.
Живу советам вопреки,
хоть явно чувствую спиною
разгорячённые клыки...

Кто ко мне проявил эту милость,
кто меня на такое обрёл:
отбывать бытие, как повинность,
отрабатывать, словно оброк?

Как прожить, чтоб не выстудить душу
и чтоб к высям не слишком влекло?
Быть не лучше других и не хуже –
кто сказал, будто это легко?

Душа – владыка благ несметных;
но оттого, что тянет ввысь,
не отвернись от прочих смертных,
гордыней не отгородись.

Ты не за всё ещё ответил,
не всех приветил и согрел.
Спеши: недолгий век отведен
для груды многотрудных дел.

Я часто жизнью напиваюсь в дым,
хотя она всё горше год от года.
Я не ушёл из жизни молодым,
а старым уходить мне неохота.

И время, словно брагу, я тяну
из чаши, мне дарованной богами.
А жребий, уподобившись коню,
устало дышит впальными боками...

Хотел бы сказать: «Я в расчете с судьбой»,
но что-то мешает, однако.
Уходишь со сцены, а долг за тобой
гремит, словно цепь за собакой.

Давно понимаю, что близок предел,
что манит небесная пустошь...
О, тяжесть земных нескончаемых дел,
когда же ты душу отпустишь?

Ему дана была пустыня
и долгий, тяжкий путь по ней, –
где проступают и поныне
следы истерзанных ступней.

Пророк! Он даже диким зверем
был понят и спасён не раз...
А мы когда-нибудь прозреем?
Иль не для нас небесный глас?

Сам на грани, а думай о каждом,
отбывающем жизненный срок.
Как нам выдержать в мире продажном
без возвышенных, искренних строк?

Сколько пошлости выпало людям,
сколько брани на душу пришлось!..
Непонятно, за что же мы любим
нашу землю – до крови, до слёз?

Не зря и в зной порой знобит нас –
так холоден между людьми
таможенный барьер снобизма
и зависти, и нелюбви!

Таимся по кротовым норам –
нас не роднят ни белый свет,
ни город, выросли в котором,
ни детство, где нас больше нет...

Обидно, что память бессильна,
что души – как ночи без звёзд,
что нищими паперть обильна,
обилен крестами погост.

Обидно, что все мы – как быдло,
что сведен на нет человек;
обидно, что так уже было,
так есть и так будет вовек...

Всё больше брошенных детей...
Где разместить? В каком приюте?
Как с Божьих сбились вы путей,
детей бросающие люди?

Не зря нас повергает в дрожь
творящееся на планете:
подумаешь – и вдруг поймёшь –
мы все – как брошенные дети...

Журавлиной стаи стон
над землёй суровой...
Осеньет нас крестом
красный лист кленовый.

Что посеял, то пожал –
яровые ль, озимь...
Беспощадно, как пожар,
догорает осень...

К какому небу дети тянутся,
среди нас сегодня вырастая?
И как мы в памяти останемся
у них: народом или стаей?

И что святое будет в целости,
Когда, не убоявшись Бога,
на нас оттачивает челюсти
тупая, хищная эпоха?

Всё меньшим и меньшим обходимся,
от злата съезжая до меди.
И с речью не церемонимся,
в которой – одни междометья.

И даже без родины вроде бы
привыкли порой обходиться...
...Проталины между сугробами
черны, как пустые глазницы.

Нам с каждым днём тревожней за детей...
Мы пожили, а что же будет с ними?
От новых политических затей
пусты лари и холоднее зимы.

Как на Голгофу, ходим на базар
и понимаем – никуда не деться.
И нем вопрос в расширенных глазах
стремительно взрослеющего детства...

Азарт базара хищно-деловит.
Здесь страсти, как ножи, обнажены.
Дешёвыми остротами, пиит,
тебе не сбить зарвавшейся цены.

Базар всегда неумолим, как рок.
И хохоток «Не хочешь – не бери»
тебя кольнёт, хоть с детства буквари
учили нас, что бедность не порок...

Мы в этой жизни без чудес
обходимся вполне.
Обычный луг, обычный лес,
обычный свет в окне.

И чаша, что испить до дна,
обычная она.
И жизнь обычная дана,
которая – одна...

Тёплый угол жилья у печи
да настольного света клин...
Не уйти мне от истин вечных,
от себя и своей земли.

Ей, родимой, прощу немилость
и не стану «качать права», –
лишь бы жизнь моя тихо длилась
да потрескивали дрова...

В метро пропущен турникетом,
живу я жизнью той толпы,
чьи облиты подземным светом,
мерцают матовые лбы.

Она меня несёт и кружит
в безмолвной слитности своей.
В ней друг от друга трутся души,
но не становятся родней.

Обшарпанная, грустная Россия.
И над травой, остывшей от жары,
потерянно, отчаянно, бессильно
белеют одуванчиков шары.

В лохматых тучах неба край за лесом.
Косой амбар, архитектурный пик.
И плачущий заржавленным железом
забытый путь, упёршийся в тупик...

Обиды – углями в золе,
но клясть Отчизну не годится, –
ведь сердцем, как больная птица,
ты припадал к родной земле.

И, как бы ни была пресна
жизнь, обручённая с бедою,
удел твой – только тень креста,
что выпал Родине на долю.

Твоей, Россия, «высшей истины»
я не могу понять никак.
Зачем твой путь страданьем выстелен
и кровью вычерчен в веках?

Сыновьи стоны... Вдовьи плачи...
Неистребимые грехи...
А ты всё пьёшь, поёшь и пляшешь
назло судьбе и вопреки.

Что с людскою сделалось натурой,
как она жестока и пуста!
Непонятной аббревиатурой
многим стало слово «доброта».

И напрасно, криком исходя,
чьё-то горе тянет к нам ладони, –
как новорождённое дитя,
брошенное матерью в роддоме.

Щепотка боли в каждом блюде,
что преподносит нам судьба.
Откуда мы? Что мы за люди?
Зачем изводим так себя?

К чему нам эта непохожесть,
свой путь, особенный удел,
коль небо вздрагивает, ёжась
от беспросветных наших дел?..

Чуть не до смерти в лицах усталость,
обречённость и грустная злость...
Сердце снова от жалости сжалось,
но спасительных слов не нашлось.

Да и чем я смягчу их обиды,
чем на горькие раны плесну,
если теми ж гвоздями прибиты
мои руки к тому же кресту?

Небо Сретенья – в пелене.
Тяжко солнечному лучу.
Но сказала старушка мне:
– Я за вас поставлю свечу.

Помолюсь. Я молюсь за всех.
Как иначе-то выжить нам? –
И ушла, излучая свет,
чтоб и мне приоткрылся храм.

Снимаю осень, как мансарду,
хоть ни копейки на счету, –
и забываю про досаду,
про пошлость жизни и тщету.

К чему иные мне богатства,
когда горит, как Хохлома,
деревьев бронзовое братство
на холке ближнего холма?

Асфальта рыба чешуя,
над ним – вкраплений охра:
то – человеческого жилья
светящиеся окна.

Гроза в ливнёвки утекла,
стих утомлённый город.
В нём – человеческого тепла
неутолённый голод...

Над рекой темны леса
и тревожны. Но, однако,
не пошлют нам небеса
ни пророчества, ни знака.

Не засучит рукава,
нас спасая, добрый гений.
Жизнь, должно быть, такова,
что не надобно знамений.

В горячке вагонной агонии,
в вокзалах, где сплошь голытьба,
скажите, куда вы нас гоните,
Эпоха, Страна и Судьба?

В каком захолустье Отечества
нам бросит затравленный взгляд
застывший у линии стрелочник,
который во всем виноват?

Гадает вечер на кофейной гуще,
а ночь, поди, уже в пяти верстах.
Вот снова, холодя дома и души,
она приходит, липкая, как страх.

Ничем ты этот холод не прогонишь –
ни музыкой, ни щебетом гостей.
А поздний сон опять отравит горечь
ночного блока теленовостей.

На кольцевых и радиальных
одно и то ж, как ни крути.
А ситуаций тривиальных
и фраз банальных – пруд пруди.

В одно пятно сливая лики,
не остывая от забот,
мы забываем, что – велики,
что называемся – Народ.

О, как этот мир не нов!..
Вот снова ночная тишь
промчится на крыльях снов,
словно летучая мышь.

А день заторопит нас
туда, где дождём облит
город избитых фраз,
город истёртых плит.

В нас прошлое сидит –
как ноющий осколок.
И голова гудит под тяжестью седин.
И как там ни суди о будущем, астролог, –
в нас прошлое сидит.

Там всё под полубокс –
на фабриках и в школах.
Там спаянность колонн
и слитность пирамид.
Порою горизонт напомнит нам околыш...
В нас прошлое сидит.

Тяжелы нашей жизни вериги,
а дорога трудна крутизной.
Но душа поселяется в книге,
словно птица в скворешне весной.

Пусть уже от тебя не зависит,
кто откроет её, а кто нет, –
будь судьбе благодарен за выси,
недоступные звону монет.

Глубинное русское слово,
что сдобрено солью стиха...
На сердце – рубец от Рубцова,
чья боль не умеет стихать.

Стираются сроков постромки,
и жизнь ускользает из рук,
но крепко сколочены строки,
как старый бревенчатый сруб.

Люблю, когда гудят колокола,
когда весна и воскресенье вербно,
и радуюсь, что на Руси жила
и вечно будет жить святая вера.

Зайду во храм, зажгу свою свечу.
Пусть не крещён, но улыбнись крещёным.
И приобщусь к тому, что по плечу
лишь посвящённым...

Всё дорожает в этот раз.
И только жизнь в цене упала.
Над всей страной как будто сглаз,
К себе все тянут одеяло.
Крушат и рушат, волокут.
Друг другу мажут грязью спину.
Молва в народе: «Нужен кнут» –
Искоренить невзгод причину.
Страна моя! В который раз
Ты в революцию играешь:
В который раз ты в первый класс,
Закончив десять, вновь шагаешь?!
Как будто вправду страшный сглаз –
К себе все тянут одеяло.
Всё дорожает в этот раз,
И только жизнь в цене упала.

МОИ ЖЕНЩИНЫ

Две красавицы спят, обнявшись.
В бликах солнца их царственно ложе.
Как люблю я обеих, о Боже!
В них моя заключается жизнь.

Та, что юна – собой, как весна.
Словно осень, прекрасна вторая.
Не ступлю, не вспугну – замираю.
Пусть продлится блаженство их сна.

И судьбу за любовь восхваляю.
Чувство это, как небо, большое.
Обе женщины этого стоят,
Стоят большего. Боже, молю!..

Улыбнулась рассвету Весна,
Осень сладко зевнула в подушку.
Дорогие мои вы подружки!
Несравненные – дочь и жена.

ЖАР-ПТИЦА

Я не держу тебя – вот дверь.
Коль говоришь, что дом – темница,
Коль в чувство вкрался холод-зверь,
Лети, лети, моя Жар-птица.

Не стану вслед тебе стрелять
В отместку бранными словами.
Не стану душу оголять
Пред тем, что было между нами.

Одно позволю лишь себе:
Когда за горы сядет солнце,
Я прослежу – в какой избе
Ты озаришь собой оконце.

ЕСЕНИНУ

*И пусть иная жизнь села
Меня наполнит новой силой,
Как раньше к славе привела
Родная русская кобыла.*

С.Есенин

Простая русская кобыла –
Об этом явствует строка –
Болеть стихами научила
В глуши рязанской паренька.

Сестра бескрылая Пегаса,
Презрев хомут и удила,
К вершинам призрачным Парнаса
Сергея в прошлом привела.

И Петербургские салоны
В злачёном блеске, свысока,
Стихам внимали удивленно
Из уст простого мужика.

Став замечательным поэтом,
От блеска славы воссияв,
Грешил рязанским раритетом
Под охи-ахи россиян.

Читал народ, дробя на слоги
Слова Есенинских стихов.
Забыв житейские тревоги –
Читал до первых петухов.

А он чудачил понемножку,
Просил налить на посошок,
Напившись, брался за гармошку,
Преподносил срамной стишок.

Горел поэт, светился в датах,
А то, взойдя под кумачи,
Вдруг остывал и долго в хатах,
Отогревался у печи.

Сергей Есенин!.. Русь святая!
Ах, сколько судеб не простых!..
Так пусть же осень золотая
Воздаст им памятью живых...

СПАСИБО, ЖЕНЩИНА, ТЕБЕ

*Жене посвящаю
Но изменяю я с тобой одной,
Всем женщинам,
рожденным под луной.*
Р. Гамзатов

Спасибо, женщина, тебе!
За то, что ты меня согрела,
Какое бы не начал дело,
Ты рядом в каверзной судьбе.
Спасибо, женщина, тебе!

За всё, за всё тебе спасибо!
За солнце в доме, за весну,
За то, что знал в любви одну!
За день спасибо и за ночь!
За отраженье наше – дочь –
Спасибо! Голову склоня,
Сейчас – и на закате дня,
Перед тобою, пред одной –
Мне Богом данною, женой...
А в час, когда оставят силы,
Положат пусть в одну могилу
Родные нас, лицом к лицу –
Воздав усопшим и Творцу.

ПРИМЕТЫ

Весна видна издалека:
По лесу, озеру, по лугу,
Грачей дебютом на округу
И линькой зайца-беляка.

В садах, в терновнике густом
Победно набухают почки,
Тепла дождавшись, днем и ночью.
Но снег тает под кустом.

Природа вспряла ото сна –
Пусть холодны и длинны ночи,
Но уж взалхлеб наседка квочет –
Весна, весна, пришла весна!

Заблудилась в тумане заря,
Прогуляв ночь с грибными дождями.
Выхожу на крыльцо сентября
Под предлогом благим – за груздями.

Не грибы мне нужны! Всё то – бес!
Подбивает взнудать он Пегаса,
Но даётся такое с небес
Лишь немногим любимцам Парнаса.

А так хочется к солнцу взлететь!
И на нем своё имя гвоздями...
Буду я почитаемым впредь.
И не только в Анапе – в Майами!

«Да какой ты, писака, поэт!» –
Птицы в небе осеннем вскричали.
И я долго смотрел птахам вслед,
Вдруг прозрев от стыда и печали.

ДЕРЕВЕНСКИЙ Я МУЖИК

Взмах косы – ложатся травы.
В уши, в душу – вжик да вжик.
Лепота! О, Боже правый!
Деревенский я мужик!

Над Россией нынче тучи.
В храмах – службы и как знать...
(В сказках лишь народ могучий
Защищал царей и знать...).

Ах, Россия, ты Расея!
Растоптала кумачи...
Лжепророкам, фарисеям,
Нынче с мёдом калачи.

Дай мне силы, Боже правый!
В уши, в душу – вжик да вжик.
Взмах косы – ложатся травы.
Деревенский я мужик.

ЭТО БЫЛО НА КУБАНИ

Не вмещали речек воды
Сонма¹ щук и голавлей
В те деньки, когда подводы
Хлеб везли на ток с полей.

Пелись песни на закатах
Про любовь и вольный край,
И горел в турлучных хатах
В очагах степной курай².

С пылу, с жару елась булка
Детворою у печи,
И пугала горцем бурка
Вдруг оживши от свечи.

Сыто лаяли овчарки.
Дымка кралась от реки.
Вдоль плетня, «приняв по чарке»,
Шли с гармонью казаки.

Кизяком дымились бани,
Ветряка белел скелет...
Это было на Кубани!
Было это на Кубани,
В гуще давних детских лет...

Разговаривал с дворнягой
Средь базара дед.
Разговаривал и плакал,
Злом людским задет.

А она лизала руки
И лицо ему.
Видно, жил в бездомной суке
Добрый ген Му-Му.

И к собаке дед прижался.
Был он хил и сед...
А я больше не пытался
Наблюдать сей бред.

Я пошёл, ступая в лужи,
Сдерживая крик...
Век бездушием контужен!
Не взыщи, старик...

¹Сонм – множество

²Курай – местное название перекасти-поле.

ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ

Ахнув, замерла дорога...
Мчатся пары под венец.
И услышан будет Богом
Обручальных звон колец.

Словно облачко невеста!
А жених, жених какой!..
И от «горько» им нет места,
И шампанское рекой.

Что за свадьба без размаха!
От гармошек валит дым.
А под ноги осень-сваха
Злато сыплет молодым.

ГРЕШНИК

*Перед тем как стать людьми,
Долго плачут обезьяны...*

М. Анищенко

Сидел на острове старик.
Не замечая день погожий.
Дороги нет на материк.
Пуст горизонт. Лишь чайки крик,
На крик души похожий.

«К чему ты небо здесь коптишь?
Окончи жизни эпопею!» –
Ему подумалось... «Нет, шиш!»...
Дед колыхнул проклятьем тишь: –
«Судьба!.. Я в ад ещё успею...»



БОНДАРЬ Надежда Фёдоровна, родилась на Алтае в г. Бийске 21 декабря 1958 года в рабочей семье. Образование высшее.

В 1980 году закончила Бийский государственный педагогический институт (БГПИ). Учителем работала в родном городе, в Юрге, Москве, Курске, Ангарске, Владивостоке. Стихи начала писать в 2006 году. Первый сборник «Мой день» опубликован в 2009 году. В 2010 г. – сборник «Воплощенный мотив», в 2012 г. – сборник «Не угасай, любовь моя...». отдельные стихи публиковались в Анапе, в журнале ЛХО «Парус». В содружестве с композитором Олегом Мурашовым создано более десяти песен духовного плана. Песня «Вера» была номинирована на X фестивале авторской песни «За Россию честь имею!». Член Союза писателей г.-к. Анапа.

МИГ СВОБОДЫ

Мы порвали последнюю нить
В паутине любовной завесы...
Миг свободы диктует, как жить,
Отпевая прощальную мессу

По безгрешной сердечной тоске...
По растроченным нервам и чувствам...
Отзывается болью в виске
Осознание преданной грусти.

Разорвавшейся нити концы
Нам двоим пусть послужат началом,
Ностальгии вчерашней гонцы
Нас с другою судьбой обвенчали.

Сколько воздуха и перемен!
Расправляются крылья желаний!
Наконец получили взамен
Вдохновенье, любовь, ожиданье!

В КАЖДОЙ КАПЛЕ

Упираются в небо холмы,
Греют солнцем горбатые спины
И намокшую в чреве зимы
Поросль жухлую пробуют скинуть.

Свежесть соком вскрывает нутро,
Пульс земли наполняет бутоны,
И в блаженном дыханье ветров,
Словно гривы, полощутся кроны.

Пряных запахов полный набор
В каждой капле, оттенке и звуке!
Ввысь певучей весны перебор
И поток вознесенья упругий!

ГОД ДОБАВИЛ СТРАНИЦУ ПОБЕД...

Год добавил страницу побед
Или строки в статью поражений?!
В биографии тень есть и свет.
Подытожит ответ день рожденья.

На столешнице – чаша весов:
Для добра и для зла – две ладони –
Бело-чёрных раздумий улов.
Что сильнее на жизненном склоне?

Пред тобою предстану, Отец!
Обнажу в час суда свою совесть
И без спешки, мой Бог, наконец,
Расскажу о судьбе своей повесть.

Попрошу об опеке Твоей,
 Присягая Отеческой воле,
 О прибавке отпущенных дней
 И надежды мятущейся доле.

Поддержи пламя белой свечи
 И в мерцанье её осторожном
 Мои мысли в ночи отучи
 От сомнений грядущих, тревожных!

Упреди от неверных дорог,
 От бесцельных по жизни скитаний!
 Веры, мудрости тайный полог
 Распахни над землёй обитаний!

НА ПЕПЕЛИЩЕ ДАВНИХ ВОЙН...

На пепелище давних войн
 Останки радости, надежды...
 Невыносимых звуков рой –
 Беды и боли дикой скрежет!

Победным маршам не отпеть
 Ушедшие до срока души!
 Крикливой птицей низко смерть
 Под помрачневшим небом кружит...

А на земле цветут сады
 Под пристальным Вселенским оком,
 И новых мальчиков ряды
 Лишает жизни мир жестокий!

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ

Ты не вернулся с войны
 майской победной весной,
 не осчастливил родных,
 первенец ласковый мой!

Внуков уже не дождусь
 Крепких, весёлых, как ты...
 Русых волос не коснусь,
 слов не услышу простых.

Мне бы тебя не рожать
 перед годиною лихой –
 некому было б лежать
 в черной землице сырой!

Где ты без вести пропал?
 В дальней чужбине полёг?
 Иль обелиском восстал,
 ласковый мой паренёк?

Где, припадая к ногам,
 гладит чужая их мать?
 Чьи стережешь берега?
 Мне никогда не узнать...

СТАРАЯ МЕТЁЛКА

Время летнее – осколком!
 Солнце жарит пепелищем.
 Осень – старая метёлка –
 В листопаде ржавом рыщет.

Намела охапки листьев
 на земном потёртом фетре
 и, в трубу разбойно свистнув,
 помянула всеу ветры.

Налетели те оравой
 и, продув вершины кронам,
 разметали, Боже правый,
 из листвы опавшей схроны.

Ну, неряха, бабка-ёжка,
 Юбка ветхая в заплатках!
 Где метёная дорожка,
 рыжей поросли укладка?!

Что, состарилась, подруга,
 потеряла вид товарный?!
 Время – редкая услуга,
 не прикупишь в день базарный!

СЕГОДНЯШНЯЯ ОСЕНЬ

Моя сегодняшняя осень
 походкой морозящих дней
 дождей холодных сеет осыпь...
 Деревья грустно вторят ей.

Опять шагну я в злую зиму
 с озябшей на ветрах душой,
 метели, атакуя в спину,
 хотят толкнуть в сугроб большой.

От глаз чужих безмолвно спрячу
пришедшей зрелости виток.
Весною будет всё иначе –
мечты проявится росток!

Как свежий вдох истоков вешних,
Окрепших в круговерти дней,
цветенья первого подснежник –
прекрасней всех он и родней!

МОЯ ТРОПА

Моя тропа нырнула в осень
под сень редеющих берёз...
Ветра своим многоголосьем
приветствуют рождение гроз,
дождей на землю истечение,
звучание ветвистых струн,
ночей кристальное свечение
в прохладном зазеркалье лун.

Ещё тепло. В душе – уютно.
В сентябрьском песенном раю,
в очаровании безлюдном
благодарю судьбу мою
за дар земного восхищенья,
доверенный копилке чувств,
за Божью щедрость просвещенья
и чистый слог с небесных уст!

ЛУЧИСТАЯ НЕГА

Покой безмолвной тишины...
Умолк поток дождей сварливых,
и, ускоренья лишены,
ветра щипают в рыжих гривах
листья желтеющий покров,
ветвей высвобождая пряди,
и устилают мягко кров
грибной бесчисленной рассаде.
Пустили корни дерева
в родную им, земную почву,
а кроны буйной голова
достать до высей, верно, хочет,
где небо, лёжа на холмах,
сомлело от лучистой неги,
а солнце в горних теремах
сегодня не смыкает веки.

ДУША МОЯ

О, душа моя! Щедрая бабонька
С сердобольной напевной струной.
Женской долюшки – очи лампадные,
Божьей матушки голос родной.

Колыбель материнская тёплая,
Для рождённых – святая купель.
В дни ненастные, смутные, блёклые
Ты – надежды и правды свирель!

Принимала меня ты нескладную.
Терпеливо внимала мольбам,
Окрыляла мечтою отрадную
По летящим счастливым годам.

А сегодня ты чуткая, тонкая,
Отмолвившая право на жизнь,
Белокрылою горлицей звонкою
Над землёй неустанно кружись!

О, душа моя! Щедрая бабонька,
Я, с нелегкою женской судьбой
Благодарна тебе, что не слабая,
И за то, что в ладу мы с тобой!

ПОРА УВЯДАНИЯ

Увяданья пора скоротечна.
Не успеешь и глазом моргнуть.
Приготовит природа нам встречу
С гостьей снежной, собравшейся в путь.

Скоро птицы прощальною стаей
Унесут за собой листопад
Косяками от края до края.
Небосвода смиренность пронзят.

Сад последние перышки скинет
И замрёт в ожидае зимы,
Зябко кутаясь в призрачный иней,
Зачарованный взглядом луны.

Нежности крылом тебя укрою,
Губы, руки расцелую, так любя.
Милый, как мне хорошо с тобою!
Как мне было плохо без тебя...

И, когда случайных встреч разлуки
Выстроили жизни колею,
Я узнала: есть любовь – есть муки!
Тем и оправдаю жизнь свою.

И спокойно укротив горенье
Сердца, не познавшего тебя,
Написала то стихотворенье,
О любви несбыточной скорбя.

И годами отводила взоры
От мужчин, что шли навстречу мне:
Нет, не тот, не этот... все – позёры.
Боже Мой! Как пусто на Земле.

Вот сию, в глупейшей синей шляпке.
Берегу её – свой дивный талисман.
Помню, на неё взглянул украдкой,
Грустным взглядом обнимая стан...

Столько лет прошло после венчанья
Как ты смог мгновенно оценить?
Я – твоя! Ты – мой, мой изначально!
Только ты мог счастье подарить!

Так нас Провиденье обвенчало.
Несоизмеримое – срослось.
Чудо есть! И то, о чём мечтала,
Пусть не вдруг, но всё-таки, сбылось.

ЛЮБВИ ЦВЕТУЩИЙ МИГ

Неважно, сколько тополиных зим
Судьба подарит в радости, в печали.
А важно, чтоб ты был – любим!
Чтоб от тебя любви ответной ждали.

Неважно, сколько розовых ночей
Тебя подымут к звёздной карусели.
А важно, чтобы жизнью в с е й
К единственной стремился цели.

Не жди последних жизни дней, не жди!
Твори б л а г о е, насыщая память.
Пускай польют осенние дожди,
Черёмух белых угасает пламя....

Пусть берег твой пустынен или дик –
Во всём оставь любви цветущий миг.

К ДРУЗЬЯМ СВОИМ

К друзьям своим спешу,
как шмель в укрытье,
К стихам живительным,
чтоб жажду утолить.
А недругов за всё пространство рытвин
я никогда не устаю... благодарить!

Ну, брызни злобою,
и комом грязи брызни –
лишь ярче расцветут мои сады.
И вот они, литые строчки жизни.
И вот они, поэзии плоды.

Что до меня, то я принять готова
зловещий крик и угрожающее слово.
Принять и сострадать, и обновить.
Для этого и стоило мне жить!

РУСИЧИ

Мы давно не дорожим собою,
Смешиваем кровь и дарим земли.
За чужой престол стоим стеною,
А в своем доме то спим, то дремлем.

Как мы часто мстим за необычность,
Уравнять пытаемся пригорки.
Наша неуклюжесть – это бич наш.
Наша нетерпимость – жребий горький.

Пресвятая, научи, Мадонна!
Что же губим мы себя и плачем.
Нас не зря боятся за кордоном,
Нет в нас веры, доброты – тем паче.

Ложь во всём, и, словно гад ползучий,
Проникает и в умы, и в хаты,..
А в засилье кривды неминуемой
Болтуны повсюду виноваты,

Кривда от невежества жиреет,
Люди, распахните в душах дверцы!
Новый ветер над Россией веет
И над теми, в ком не лживо сердце.

Надо перестать друг друга ранить,
Надо уступать тропинку рядом.
Жизнь – не сцена драк и состязаний.
Жизнь – за все хорошее награда!

ЭХ ТЫ, ВРЕМЯ!

Надо бы смириться, успокоиться.
Взять гитару в руки иль перо.
Эх ты, Время – удалая конница,
в духе сказок Шарля де Перро,

Где нет места лжи, а зло – наказано,
Где смешон наказанный подлец,
Где бедняцкую избушку – мазанку
превратят в чудеснейший дворец!

Было время это златоверхое?
Или будет?! Что ждёт впереди...
А куда – наша жизнь с прорехами,
Лишь надежда теплится груди.

Время быстротечно и незначимо,
хочет затаиться, словно груздь.
Ни-че-го, работой мир украсится,
А с гитарой – веселее грусть.

Зависть, подлость, злоба лютая
мутной пеной топят берега.
Верится, что повернули круто мы –
кровоточит совесть сквозь века.

Эх ты, Время – удалая конница,
мчишь вперёд! Забыты стремена...
А народ, он в пояс тем поклонится,
кто не лжив в любые времена.

Я ВАС ВПУСКАЮ В ХРАМ ПРЕСВЕТЛЫЙ

Я вас впускаю в храм пресветлый,
где покрывало из снегов,
где веют праздничные ветры,
и царствует сама любовь.

Мне совесть – верная подруга,
как птица певчая в саду.
Пусть за окошком злится вьюга,
сквозь вьюгу солнышком взойду.

И, звёзды взором обнимая,
вечерней роздымной порой
с зарей вечерней прозревая,
приемлю месяц золотой.

Зажгу свечу, чтоб обогреться
и выстоять, и устоять,
всей силой пламенного сердца
как можно дольше просиять.

С любовью вечной обручиться
входите в мой пресветлый храм.
Там светлой чередой лица
восходят к солнечным мирам.

Там каждому – и честь, и слава,
любви стремительный полёт.
И не обидно за Державу,
пусть процветает мой народ.



ШЕРЕМЕТЬЕВ Борис Евгеньевич родился на Кубани в 1945 году, в семье зоотехника-селекционера и преподавателя совхоза «Венцы-Заря». Окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище, Высшее инженерное училище ВМФ, Литературный институт имени А.М.Горького. Ходил в дальние походы, нёс боевую службу. Награждён многими орденами и медалями. Писал стихи и прозу. В активе роман «Красная эскадра», повести «Логика каперанга Варгасова», «Отцовское море», рассказы «Морской рундучок...» и другие произведения, напечатанные в центральных газетах, журналах, издательствах. Член Союза писателей СССР, России с 1983 г. Избирался секретарём правлений Московской писательской организации, Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов. Заслуженный работник культуры РФ. Учредитель и председатель правления Союза писателей г.-к. Анапа.

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Флот, бивший французов

На протяжении всей второй половины XVIII века в России чередой прокатывались волны грозных событий. Неоглядные просторы сотрясали то войны, то мор, то пугачевский бунт, то внешних бурь напор.... И что же?! Северная держава – кому на удивление, кому на зависть! – успешно боролась с угрозами, непоколебимо отводила удары судеб, пятою твердой стала, как нипоруда. Чем громче гремели её армейские пушки и корабельные орудия при отстаивании родных и братских палестин, тем явственнее выказывались удасть, славянское молодечество. Никого и ничего не страшась, великая империя всё круче заламывала полы распашной шубы, подводила под свои крыла большие и малые народы от Вислы до Тихого океана.

Однако душевные и телесные силы, в конце концов, надорвались. Тройственный союз, заключенный на закате жизни воительницей Екатериной II с Англией и Австрией в 1795 году, против новой буржуазно-республиканской Франции, непомерным бременем лёг на плечи русских людей и подкосил их воинственный пыл. Россия, будто опамятававшись, прекратила военные действия и, точно медведь, зализывая раны, впала в тяжелую спячку.

Это была чистой воды дипломатия. Ход не столько осознанный, сколько вынужденный, посеявший жалкий дух сомнения и отрицания в умах незрелых, слабых. Но только не у Павла I, с большим опозданием вступившего на поприще императора. После ухода в мир иной порфиросной матушки он, едва примерив корону, вспылчивый, отменил заграничный поход Александра Суворова. А ещё отозвал эскадры вице-адмирала Михаила Макарова, которые блокировали в Немецком море остров Тексель, помогали англичанам держать в руках голландский флот. Аргументы, озвученные при беседе с послами 24 ноября 1796 года, выдвинул такие:

– Пришло время восполнить истощенные силы и средства державы. Иначе земли, с трудом завоеванные пращурами, уйдут из-под носу. Час грядёт суровый! Мы предпримем все возможные меры против неистовой Французской республики. И не позволим ей грозить Европе совершенным истреблением закона, прав, имущества и благонравия...

И слово сдержал. Спустя три года из опасения, что Франция после контрреволюционного термидорианского переворота нападёт на русские черноморские владения, царской рогатиной поднял из берлоги «медведя». В спешном порядке были выставлены в Северное море две эскадры, а третью отправили в крейсерство по Средиземноморью. Там уже на полный ход хозяйничали солдаты Бонапарта: на острове Занте арестовали нашего консула; на Ионических островах под страхом смертной казни запретили грекам вступать в какие-либо сношения с Россией; захватили Мальту – оплот древнейших дворянских родов Европы; высадили вблизи Александрийской бухты 37-тысячный корпус и начали завоевание «страны пирамид».

Видимо, не зря на символике Франции красовался петух, сверкая радужным трёхцветным опереньем. Задиристый, со шпорами на лапах, он бесцеремонно сгребал под себя богатые колонии. Ярились правители Англии, Австрии, Турции и Неаполитанского королевства от мысли подрезать ему крылья, ощипать распушившийся хвост, да храбрости хватило только на словах.

Когда выпадало трудное время, многие народы, ища защиту, с мольбой поглядывали на Россию. И та оправдывала их надежды, чаяния. Вот и в том, в 1798 году, услышав скорбный стон и приняв близко к сердцу чужую боль, не мешкая, с гордой радостью вздели на реях паруса. Через несколько дней, в конце сентября, средиземноморская эскадра уже бросила якоря у стен Цериги, разбойничьего гнезда Наполеона, являющегося связующим звеном между его египетской армией и войсками на Ионических островах. Крепость Капсала, расположенная на крутой горе, была малодоступной. И, тем не менее, русский десантный батальон, стальной щетиною сверкая и сотрясая скалы бранным гулом, сумел зацепиться за берег. Бой оказался скоротечным: 1 октября французы сложили перед победителями оружие, и коленопреклоненный комендант вручил командиру фрегата капитан-лейтенанту Ивану Шостаку знамя и ключи от крепости.

Этот поединок с гарнизоном Бонапарта положил начало антинаполеоновской войне для России. То, утихая на какое-то время, то вспыхивая с новым ожесточением, она велась на протяжении шестнадцати лет. Эхо сильнейшей канонады прокатывалось над вершинами Альп и водами Адриатики, на полях Аустерлица и Прейсиш-Эйлау, под Бородином и Лейпцигом – словом, по всей Европе до падения Парижа в 1814 году.

Не желая утомлять читателей, не стану в подробностях рассказывать, как Российский Императорский Флот (РИФ) бережно снимал кровавые пелены со славянских народов, врачевал их раны. Мне кажется, достаточно упомянуть о походах и кампаниях того времени, чтобы понять масштаб славных дел, совершенных моряками во имя избавления малых государств от иноземного ига, представить картину восстановления законной власти.

Итак, в 1798–1800 годах Российский императорский флот взял с боем острова Церига, Занте, Кефалония, Санта-Мавра и считавшуюся неприступной крепость Корфу. Местные жители с помпой и ликованием встретили русских, носили на плечах, заставляли детей целовать им руки. На крышах всюду развевались стяги побед во славу России.

Когда слух о первых успехах дошёл до Петербурга, Павел I щедро наградил все команды, адмиралу Фёдору Ушакову пожаловал ордена, осыпанные бриллиантами, и пожизненную пенсию.

После освобождения Ионических островов наши моряки очистили от французов города Бриндизи, Мола, Бари, блокировали Венецию, погасили террор в Аппенинах, восстановили в правах Неаполитанское королевство. И под восторженные возгласы итальянцев: «Да здравствуют русские!», «Вот те, которые всегда бьют французов и которых французы боятся!» – вошли в Рим. Парфенопейская и Батавская марионеточные республики пали.

Не ударили лицом в грязь россы и в 1805-1807 годах, в царствование Александра I. Не только пресекли все попытки Наполеона захватить средиземноморские страны и обратить их народы в своих рабов, но и овладели Архипелагом, сокрушили в Афонском сражении турецкий флот, установили единовластный протекторат над республикой Семи Островов...

Воспарили душой русские люди от сознания, что не зря родились на свет божий. Их слух услаждали в храмах Албании горячие молитвы, благодарственные молебны в честь бра-

тьев по оружию; их взор ласкали реявшие победоносные андреевские флаги на крепости Тенедос, с которой открывался вид на древнюю Трою и Дарданнелы. В проливе беспрестанно сновали военные и купеческие суда: между Севастополем, Николаевом и Корфу наладились сообщения, оживилась взаимовыгодная южная торговля.

И слава о флотоводцах Федоре Ушакове, Дмитрие Сенявине, которые упрочили статус России на Средиземном море, возбудили в сердцах родственных народов чаяния и надежды, повсеместно гремела до небес.

Но радость братьев по крови оказалась короткой. Иногда верхи России, проникнутые непонятной любовью к Западу, заигрывали перед ним. Вот и в июле 1807 года из Петербурга поступила странная депеша с высочайшим повелением: порфириносному Наполеону передать Ионические и Далматские острова, область Боко-ди-Катаро; Османской Турции вернуть Тенедос; а корабли Российского императорского флота, не медля возвратить в Балтийское и Черное моря.

Вот вам, бабушка, и Юрьев день! Отчины, с таким трудом восстановленные усилиями общеславянских народов, освященные пролитой кровью не только русской, но и черногорской, бокезской, герцеговинской, далматинской, без всякого уважения давности и законности в единый миг отрезали и отписали старушке Франции, её клевретам.

Так в чём дело? Кто порушил цель наших видов на Средиземноморье, к которой так настойчиво вели во имя расцвета морской мощи России два блистательных адмирала? Главная «заслуга» в том молодого императора Александра I – неустойчивого во взглядах, ещё не разбирающегося в хитросплетениях и зигзагах европейской политики, собирающего дань удивления чуждых народов, а не любовь своего. Полагая, что судьба вверила ему не только скипетр, но и маршальский жезл, он завёл нашу армию в сети, которые расставлял для Франции. В результате флот и все его завоевания стали в Тильзите искупительной жертвой, принесённой Отечеству за поражения союзных войск под Аустерлицем и Фридландом.

К тому же Тильзитская трагедия потянула и другую цепь событий: расплыла силы русских эскадр, вызвала войну с Англией. Турция, верная своей тактике «подерёмся – отдохнём – опять подерёмся», тоже не осталась в стороне. Словом, проход через Гибралтар и Дарданеллы для нашего флота оказался закрытым. В океан прорвались только эскадра Дмитрия Сенявина из десяти кораблей; однако повреждения от свирепого шторма вынудили зайти в Лиссабон, где вскоре англичане интернировали эскадру и до окончания войны держали в Портсмуте. Остальные же суда направились в Триест, Венецию, Тулон, Феррано, обрекая себя на горькую и постыдную участь: по приказанию из Петербурга их вместе с трофейными орудиями, взятыми в Адриатике, Архипелаге, продали Наполеону. А согнанные на берег экипажи или доставлялись на английских транспортах в Ригу или пешком шли с чужбины в Россию, в заливы отчизны дорогой.

Не лучшим образом обошлись с ними и на родине, не удостоив воинскими почестями, на которые рассчитывали по праву победителей. Невнимание это крепко задело моряков. Незнакомые с притворством, они остро почувствовали свою приниженность и ненужность. Так же, как, впрочем, офицеры и адмиралы «из иностранцев», которые в нескольких войнах доказали свою верность новому для них отечеству, но в угоду французскому императору были списаны с кораблей. Запасаясь терпением, все они с редким достоинством стали ждать у моря погоды...

Удручающе скучная, неудобная обстановка воцарилась на флоте, вдруг оказавшемся пасынком, загнанным из просторов морей в тупик «Маркизовой лужи» Кронштадта. Но более всего удивляло обстоятельство иного порядка. В гаванях стояли корабли, обшитые медью, лёгкие, ходкие, с прекрасным вооружением, в экипажах – опытные командиры, отважные матросы, геройскими поступками снискавшими дань уважения всей нации, а вот флотоводцев, мудрых, дальновидных, которые служили не государю, а делу государеву, будто бы отродясь на Руси не было.

То ли слишком щедрна Россия-матушка на таланты, то ли по какой другой, скрытой причине, но лихо порой приходится в ней сыновьям с одухотворённым сердцем. И где б ещё

пренебрегли с «истинной, царственной неблагодарностью» такими знаменитыми адмиралами, как Фёдор Фёдорович Ушаков и Дмитрий Николаевич Сенявин?

Первый, глубоко оскорблённый тем, что поставили во главе гребных судов и береговых команд в Петербурге, ещё в 1807 году ушёл в отставку и одиноко жил в тамбовской деревне, поникнув «в тишине главою лавровой». На послание Александра I, пожелавшего узнать об истинной причине увольнения со службы, он с присущим достоинством ответил: «Ныне же по окончании знаменитой кампании, бывшей в Средиземном море, частью прославившей флот ваш, замечаю в сравнении противу прочих лишённым себя высокомонарших милостей и милостивого воззрения. Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны, – да будет воля его святая. Всё случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением».

Второй, из славной плеяды Сенявиных, в виду мелочных придирок Александра I, который «предпочитал терпеть урон от беспрекословного повиновения, нежели выгоды от решительности» главнокомандующего морскими и сухопутными силами в Средиземноморье, подвергся испытаниям превратности судьбы. В результате в 1810 году, назначенный на должность главного командира Ревельского порта, оказался на периферии дел.

...В ту пору трудно было уразуметь, кто твой истинный друг, а кто лицемерный враг. Французы, похваляющиеся любовью ко всему человечеству, на самом деле возмечтали промаршировать с непобедимой армией по Европе; англичане, австрийцы, шведы, турки, приведя в движение все сокровенные пружины ухищрённой политики, не раз изменяли своё отношение к России. Потому наш флот, страдавший хроническим некомплектом в командах, постоянно держался настороже, как бы фактом своего присутствия защищая русские берега от нападения неприятельских судов.

Год от года всё отчётливее обнаруживались имперские амбиции отважного, но очень самонадеянного Наполеона, решившего, что «путь к Англии лежит через Россию». После занятия им Штральзунда и шведской Померании стало ещё более очевидным, что, ступив твёрдою ногою на побережье Балтики, он, этот феномен ума и странностей, скоро бросит перчатку к сапогам Александра I, который в ущерб Тильзитским соглашениям, в нарушение континентальной системы самостоятельно ввёл «Положение о нейтральной торговле». Неотвратимость этой угрозы подтвердила и депеша, полученная в начале марта 1812 года от нашего посла в Стокгольме барона Николаи. В ней сообщалось, что «сильная эскадра французских канонерских лодок, перейдя Голштинским каналом в Балтийское море, намеревается прикрывать левый фланг армии при вторжении её в Россию».

Встревожился монарх в Зимнем дворце за события, которые могли бы поставить судьбу Петербурга на лезвие бритвы. Малые суда противника, скользя по мелководью в непосредственной близости от берега, и в самом деле недосыгаемы для линейных кораблей; отразить это нападение, смогут лишь небольшие суда... И, перед тем как разразиться грому, вспомнил о своем флоте, в чьи нужды не вникал лет пять. В Адмиралтейств-коллегии огласили высочайший приказ: «Его императорскому величеству благоугодно, чтобы для усиления гребного флота построено здесь было в течение двух месяцев шестьдесят канонерских лодок... годных для перехода морем с десантными войсками».

Вслед за тем отдали «немедленное распоряжение, дабы состоящие во всех портах корабельного и гребного флота суда, к службе благонадежные, были приведены в совершенную готовность к плаванию ко времени ранней навигации». Заключение также русско-шведский договор, по которому обе державы обязались выставить на мелких судах союзный корпус общей численностью около пятидесяти тысяч человек для производства диверсий в тылу неприятельских войск на берегу Балтики. А ещё, при посредничестве шведского правительства, повели предварительные переговоры между русскими и английскими уполномоченными; последовали всевозможные щедрые посулы, указы, обращения, поднимавшие угасший воинский дух моряков, воспламенявшие любовь к Отчизне. Так, с лихвою тогда было возвращено доверие адмиралам «из иностранцев» Грейгу, Кроуну, фон Моллеру, Тету. Все они получили высшее назначения; и лишь Ушаков, Сенявин – герои предшествовавших войн, которые новую беду, нависшую над Отечеством, воспринимали по-русски, близко к сердцу, – так и остались в тени.

Экстраординарные меры, принятые Россией, очевидно, как ушат ледяной воды, отрезвили Наполеона, вознамерившегося, проложив коммуникационную линию на море, направить острие своего удара на Петербург через Ригу. Опытный лис узрел, что русский флот, подорванный Тильзитом, не сломлен окончательно, и тягаться с ним будет ой как непросто. К тому же, очевидно, он ещё помнил уроки, преподанные ему в Средиземном море. Грезя о победах, он тут же переменял план, и повёл войну по иному сценарию, в котором роль нападающей стороны отдал морским силам России, а не Франции.

Чего скрывать, молодая горделивая столица, «полнощных стран краса и дива», заложенная Петром I на берегах Невы столетие назад, неотступно притягивала вожделенные взоры Бонапарта. Куда бы ни двигал он полки – всего себя, без остатка, посвящал её покорению, чувству, которое господствовало в нём над благородством помыслов и деяний и, может стать, было единственным их источником. Не случайно, когда одновременно с главными силами 30-тысячный корпус Макдональда в ночь на 12 (24) июня 1812 года форсировал Неман к северу от Ковно (Каунаса) и захватил Россиены, то желая развить успех, дивизия пруссаков во главе с Гравертом пошла напрямик на Ригу. Именно эта крепость-порт являлась тогда фланговым опорным пунктом, прикрывавшим подступы к Петербургу.

И снова, как некое исчадие ада, на пути храбрых замыслов французов встал русский флот. Бомбардирские и канонерские лодки, заняв на реках Северная Двина (Даугава) и Болдер-Аа форпосты, не допускали противника к переправам, не позволяли ему развернуть силы. Забыв об обидах, связанных с недавней фрунтовистикой и муштрой, моряки вновь горели желанием проявить верность и преданность Отчизне, которой их предки никогда не изменяли перед лицом общей опасности. В перепалки с неприятелем вступали довольно часто. Это хорошо видно из подённых июльских записок главного командира Рижского порта вице-адмирала Шешукова к министру военных морских сил адмиралу маркизу де Траверсе, французскому эмигранту, сравнительно недавно принятому на русскую службу:

«Командующий 6-ю канонерскими лодками лейтенант Яновский рапортом сего месяца 20 числа донёс, что 16 числа неприятель, показавшийся по левому берегу реки Двины, в довольном количестве конницы и пехоты, следовавший по дороге, ведущей к городу Риге, был отражен несколькими пушечными выстрелами с канонерских лодок и английских военных 4-х ботов и принужден в беспорядке обратиться в бегство, в свои укрепления».

«... 26 числа поутру... имел сражение со сделанными на берегу неприятельскими батареями и расставленным по берегу войском; батареи прежде идущими лодками № 15, 24, 32 были сбиты. В сражении сем отличились особенно командир лодки № 32 капитан-лейтенант Биштет, № 24 лейтенант Рикорт, мичман Готов и состоящий же на оной лодке мичман Борисов. Особенно отличился капитан-лейтенант Биштет, который, находясь при двух ранах, не оставил командования над лодкой; на оных лодках, убито матросов 10, ранено 42, привезено в Динамюнд всех команд армейских и морских 68 человек, коим состоится перевязка в старом лазаретном доме».

В этих схватках с отрядами противника наши моряки узнали свою силу, ощутили вкус к будущим победам. А они были уже не за горами. Так, об одной из них – о взятии города Митавы – имеется донесение контр-адмирала фон Моллера, опытного и сведущего. В нём он приводит интересные факты о редкой согласованности действий гребного флота и армии, об их смелости, изобретательности, умении досадить врагу делом.

После разработки с генерал-лейтенантом Штейнгелем совместного плана очистки от французов нижней части Западной Двины флотилия канонерских лодок и судов, вооружённых карронадами, 14 сентября отправилась по Болдер-Аа. В Бильдринсгофе наши моряки обычным порядком переправили на левую сторону реки колонну сухопутных войск, и вскоре без единого выстрела вошла в Шлок. Там они посадили десантников на канонерские лодки, а конницу и артиллерию – на специально приспособленные барки. Несмотря на крепкий ветер, нудный осенний дождь, флотилия в тот же день прибыла к назначенному часу в Калинец. Высадив войска и выставив форпост из 4-х канонерских лодок, взяли курс на Митаву. Но путь туда оказался не из легких. Прорывались сквозь плотный огонь береговых батарей, через

устроенные на фарватере боны и подводные рогатки с железными щипцами. Следуя по пятам противника, захватили 390 ядер и четыре медные, 24-фунтового калибра, пушки: две из них подобрали на батареях при болах и две подняли из воды.

Наконец, 7 сентября, флотилия, соединяясь с нашими сухопутными войсками, разбила ретирующегося неприятеля и освободила Митаву «как средоточие французского управления в Курляндии». В городе моряки обнаружили военные припасы, предназначенные для осады Риги. Часть из них истребили, а часть снесли на суда. Среди трофеев оказались укладки с ружьями, ящики с тесаками, такелажем и якорями, приготовленными для наведения мостов, мешки с шубами, овечьим сукном, госпитальными материалами. Три батареи были скрыты до основания. Закончив переправу войск, флотилия благополучно вернулась в крепость-порт.

Справедливости ради замечу, что неизвестно, как бы сложилась в тот ответственный момент оборона Риги, если бы не подросла эскадра Тета. Это он, воспользовавшись осторожностью прусского полководца на подступах к западной Двине, которая показалась робостью, вовремя протянул руку помощи, доставив из Свеаборга на кораблях 15-тысячный корпус генерала Штейнгеля. О значении этой операции по быстрой переброске десантных войск можно судить по оценке специалистов. Приведу одну из них:

«... Когда же 2-го сентября пришел со стороны Ревеля отряд из Финляндии под командою графа Штейнгеля, то комендант Риги произвел большую вылазку, истребил запасы в Митаве и Бауске, а Макдональд был вынужден отправить из Динабурга подкрепление Граверту, вследствие чего не мог обойти фланга графа Витгенштейна... Таким образом крепость Рига нарушила предположения Наполеона на этом фронте и как нельзя лучше способствовала целесообразным действиям русской армии. Без неё на Западной Двине события развернулись бы, по всей вероятности, не столь благоприятно для русской армии. Если бы у Макдональда не были связаны руки этой крепостью, и он мог бы со всеми своими силами обрушиться против фланга графа Витгенштейна, то последнему едва ли удалось бы отстоять направление на Петербург в критический момент войны».

Вот в каком положении ко времени вступления Наполеона в Москву в сентябре 1812 года были дела на Балтике; опалённая грозой, она раскачивалась то одними ветрами, то противоположными. Свою будущую боеспособность русский флот обретал в тяжких испытаниях, платя кровью и жизнью моряков, утратой боевых кораблей: и в период длительной обороны крепости Риги, воспрепятствовавшей французам переправиться на правую сторону Западной Двины; и в период сторожевой и разведывательной служб крейсерского отряда, успешно действовавшего против левого фланга вражеских сил; и в период блокады и бомбардировки Данцига, очень важного тылового пункта неприятельской армии, уже подходившей к Бородину и вынужденной накануне генерального сражения оттянуть часть войск для защиты своих складов с припасами; и в период плавания объединённой эскадры адмирала Тета к британским берегам...

Лондон тогда был предельно отзывчив на каждую просьбу из Петербурга. Однако, не бескорыстен. Для уяснения истинного порока не только средства, но и цель должны подвергаться строгой проверке. Как давно подметили ещё наши предки, англичане, верные своей двусмысленной политике, холодному, эгоистическому расчёту, всегда коварно подходили к союзникам и помогали им лишь в том случае, когда видели собственную выгоду.

Так, в общем-то, обошлись с Россией и в 1812 году. Подписав мирный трактат 6 июля в Эребро, они часть синявинской эскадры, оставленной в Портсмуте согласно лиссабонской конференции, вернули; за другую же часть кораблей, пришедших в ветхость, заплатили русской казне их стоимость.

Откуда такая щедрость, не свойственная британцам, такое внезапное и неестественное их великодушие? А дело в том, что лондонские правители прекрасно понимали, что одолеть Наполеона без России никто не сумеет. А если им какая-то мысль втемяшивалась в голову, они отстаивали её непоколебимо, самозабвенно, и в русле этого предназначения заставляли действовать и себя, и союзников. В такую пору, кажется, ничто не могло поколебать их твёрдых намерений, даже те обстоятельства, которые заранее открывали их заблуждения и ошибки.

В частности, забегаю вперёд, скажу: когда стало ясно, что Бонапарту, едва оправившемуся от битвы при Бородино, не до посылки через Ла-Манш своих кораблей, которые бы блокировали коалиционный десант, предназначенный для высадки в Ирландии, англичане продолжали держать русскую эскадру у себя под боком в устье реки Медуэй, близ Лондона.

«Недаром помнит вся Россия...»

9 июня 1812 года. Из-за полога восточной закраины неба долго не проглядывал утренний свет. Размытую, призрачную даль то занавешивали серые пряди тумана, то сизые комья облаков. Но вскоре собралась гроза огромной тучей, зависла вдруг над Неманом и чёрным ковчегом двинулась вдоль западного берега.

Таким образом, зачаток Духова дня в канун нашествия на Россию вышколенных разноплеменных войск «дванадцати языков» невольно предстал в образе некоего судного предупреждения. Только император Франции, самовлюблённый предводитель великой армии, не заметив того, что из тучи перст божий грозит и сверкает, не придал значения гласу Всевышнего. Увлечённый навязчивой идеей порабощения России, он с нетерпением дожидался часа, давно им предвиденного. И вот наконец-то, надвинув свою треугольную шляпу, отдал приказ по войскам, об открытии военных действий: «Солдаты! Нас не случайно свела судьба здесь. Эта темная туча не затмит нашу светозарную звезду... Вперёд, вперёд! Штыком и грудью смелой пробьем путь на восток. Положим конец пятидесятилетнему кичливому влиянию России на дела Европы, злобному подстрекательству славян, наших вассалов».

А в следующий день, за сутки до наступления, приключилась вторая странность, теперь уже лично касающаяся бонвивана Бонапарта. Облачённый, в целях маскировки, в польский походный сюртук, с подозрительной трубой в руке, он зорко всматривался в противоположный берег Немана, низкий, песчаный, со слабо защищенным городом Ковно. Сделав все необходимые указания по наведению понтонных мостов, не поскакал, а полетел через поле к стоянке. И надобно ж такой беде случиться: из-под ног выскочил заяц. Предводитель, не успев осадить споткнувшегося коня, был выбит из седла, ничком пал на землю. Казалось, неминуемая брань польется из уст на головы приближенных. Отнюдь! Наполеон подхватился – лик его был бледен, движенья судорожны, тревожны, – птицей взлетел на коня, и, опалённый страхом судьбы-злодейки, заторопился дальше. Вслед за ним потрусила рысью и свита, также суеверно узревшая в событии худое предзнаменование.

Не сидел, сложа руки, и Александр I, император России. Он предпринимал все возможные меры, чтобы энергичным образом противостоять французам. Уже удалось сделать многое: к западной границе со всей России стягивались войска, кроме тех, которые воевали против турок и финнов, держали линию на Кавказе. Скрипели на степных дорогах тележные оси обозов, гудели оводы, стеной стояли в пеших и конных колоннах окрики, понукания, ядовитые ругательства. Однако через города и веси полки проходили, твердо печатая шаг, с песнями, время на привалах коротали с шутками. Даже те офицеры, кто вчера числился в отставке, дневал и ночевал в салонах, теперь встал в строй. Всем хотелось не столько оправдаться за ленивую, барскую жизнь, снять позор за недавние поражения под Аустерлицем и Фридрихсдорфом, сколько доказать, что именно они самые яркие представители русских родов.

День ото дня обстановка накалялась: ветер перемен выдувал изо всех закоулков залежалый дух российский. Едва только император решил покинуть Петербург и перенести свою главную квартиру в Вильно с тем, чтобы принять на себя командование армией, незамедлительно последовало распоряжение о выступлении из Питера гвардейцев.

С тоской и завистью посматривали на них солдаты других частей и подразделений, в том числе и матросы Гвардейского экипажа во главе с капитаном 2 ранга Иваном Петровичем Карцевым. Созданный два года назад из придворной гребцовки и яхтенной команд, подчиненный одновременно Адмиралтейств-коллегии и сухопутным военным властям, экипаж до последнего момента пребывал в неизвестности: готовиться с отборными полками к компании или к самостоятельному плаванию на судах?

И вдруг весть о том, что экипажу предстоит выступить походом в Вильну, что он «зачислен в 1-ю дивизию 5-го (гвардейского) корпуса», как электрическая искра, воспламенила моряков. С какой-то неутомимой энергией и поспешностью принялись они собираться в поход. И на третьи сутки четыре роты и артиллерийская команда Гвардейского экипажа с винтовками на плечах, с полной выкладкой и со своим обозом предстали на Семеновском плацу вместе с лейб-гвардии Егерским и Финляндским полками.

Высочайший смотр прошел не строго по букве устава. После церемониального марша Александр I проводил свою гвардию до Московской заставы. Каждый полк напутствовал в отдельности, но коротко. Обращаясь к морякам, сказал: «Прощайте, ребята! Я надеюсь, что не ошибся, взяв вас собою, и что вы покажете мне вашу службу... Да благословит вас Бог на страдание и отвагу!»

Не громом среди ясного неба явилось вторжение Наполеона в Россию; но то, что он, бедой России угрожая, в считанные часы перебросил более двухсот тысяч человек через Неман в районе Ковно, стало неожиданностью. И когда эта масса войск, точно огромная прожорливая гусеница, поползла к Вильно, на всём её пути обнаружались следы насилия, страшного опустошения: и на истоптанной ниве, обещавшей богатую жатву, и на пепелищах бивачных костров, для которых изрубались вековые деревья, кустарники, и на развалинах сёл, оскверненных солдатской потехой, пожарищами.

Более ста лет, со времён разгрома Петром I шведов, не видел отчий край врагов. Против Фридриха Великого русские войска сражались в его владениях; против Бонапарта – на территории союзников. И в 1812 г. французское нашествие можно было упредить контрударом по герцогству Варшавскому, и генералы Багратион, Беннигсен настаивали на этом, но военный министр, осторожный и мудрый Барклай-де-Толли, распорядился иначе. Мало кто знал тогда о его замыслах, а тем более о признании историку Нибуру после сражения при Прейсиш-Эйлау ещё в 1807 году: «Если бы мне пришлось воевать с Наполеоном в качестве главнокомандующего, то избегал бы генерального сражения и отступал до тех пор, пока французы нашли бы вместо решительной победы Полтаву».

И вот теперь, пять лет спустя, спасая Отечество, пользовался плодами своих давних соображений: приносил в жертву окраинные земли, заманивал Бонапарта вглубь страны. А исподволь высматривал силы неприятеля, свои же, раздробленные на три армии, стремился к наиважнейшему часу скрепить воедино. Пункты для соединения назначал разные: сперва Свенцяны, потом укрепленный лагерь при Дриссе, далее Орша. Однако Наполеон, имевший подавляющий перевес в людях, орудиях и кавалерии, хорошо осведомленный о дислокации наших войск, в течение полутора месяцев успешно вклинивался между ними и пытался разбить каждую в отдельности. Русские полки, уклоняясь от ударов, в страшном волнении ума и души оставляли свои города и селения.

Четыре роты Гвардейского экипажа следовали в арьергарде барклаевских боевых порядков. Матросы были приметны и ростом, и неунывающим видом. Одеты в темно-зелёные двубортные куртки с белой выпушкой у воротника и красными погонами, в брюки из фламандского полотна, сапоги. На головах пехотные кивера с медными гербами гвардейского образца, за спинами ружья, егерские сумы на 60 зарядов, по бокам накремники, щанцевые инструменты. Заслышат команду «Полундра!», будто чёрт в них вселялся, становились бедовыми, с дерзким взором.

Боялись их французы. Но редко где матросам выпадала счастливая доля выказать врагу свою молодецкую удаль – экипаж использовался главным образом в качестве инженерных войск. Не раз, правда, благодаря необыкновенной сметливости, расторопности в деле, моряки способствовали успешному передвижению нашей армии. Интуиция и глазомер не подводили их. Удачно выбирали места для переправ; мосты строили на особый манер – без чертежей и планов, руководствуясь врожденным плотничьим чутьём и флотским опытом. В случае недостатка лесоматериалов не терялись – в близлежащих сёлах раскатывали срубы крестьянских изб, разбирали сараи, заборы.... Под плоты, сколоченные или связанные из брёвен, для большей плавучести подводили пустые бочки; а отыскав доски – настилали палу-

бу. Чтобы предать остойчивость сооружению, из ветвей сплетали корзины и, набив камнями, погружали в воду вместо якорей.

Не такой уж безопасной была работа. Как-то на Вилии у села Неменчин при подводке пустых бочек мичман Михаил Николаевич Лермонтов упал в реку, и течение забило его под плот. Матрос Мурдалев, стоявший у ружей, увидев тонущего офицера, бросился ему на выручку, вытащил на берег. Отдышавшись на песке, долго потом извинялся перед офицером, что спасая, схватил за волосы.

На постоях моряки обычно не задерживались. Если команда управлялась с наведением мостов и дорог в одном месте, тут же по предписанию генерал-майора Ермолова спешно отправлялась в другое. Не было таких дел человеческих, чтобы оказались морякам-гвардейцам не по плечу. То укрепляли лагерь в Дриссе, то помогали сапёрной роте, не имевшей опыта в уходе за понтонами и их эксплуатации. Парусина при транспортировке у них почему-то перетиралась на изгибах и на воде давала течь. Починка дыр была для солдат делом затруднительным, а матросы, наложив двойные парусиновые швы, быстро приводили понтоны в порядок.

Когда такие работы выполнялись на виду у командования 1-й армии, Барклай-де-Толли, весьма скупой на похвалы, выражал своё одобрение: «Матросы молоды, да руки золоты».

А однажды при наводке мостов залюбовался их радением и сноровкой, умением в трудную минуту подбодрить друг друга шуткой сам Александр I. Он пожаловал всему экипажу денежные награды, а затем вскоре покинул армию по причине того, что надо «съездить на несколько дней в Москву, дабы устроить там новые войска и поджечь тамошний дух».

Привыкли гвардейцы к опасной жизни. Действуя под самым носом неприятеля, проявляли мужество и героизм. Так, когда наша армия покинула Дриссу, лейтенант Александр Дмитриевич Валуев и мичман Михаил Николаевич Лермонтов с шестьюдесятью матросами были посланы осматривать погреба и амбары, дабы ничто из съестных припасов не досталось наполеоновцам, а также помочь переправиться двум кавалерийским корпусам, наблюдавшим за противником с левобережья Двины.

Успешно выполнив это задание и спалив плавучий мост, гвардейцы по мере продвижения вдоль реки к Витебску стали предавать огню и разорению всё то, что ещё послужило бы французам. Таким образом, горстка матросов сделалась задним «мателотом» арьергарда 1-й армии.

Ночью отряд достиг Полоцка. В городе обнаружили бесхозные телеги с провиантом, обессиленных солдат – следы быстрого передвижения нашей армии. Было над чем призадуматься: на противоположном берегу Двины угрожающе горели французские бивачные огни, кавалеристы из корпуса Мюрата устроили водопой. Не мешкая, офицеры Валуев и Лермонтов посадили на телеги слабых солдат и отправили вслед армии, а провиант, который нельзя было взять с собой, уничтожили. Противник в любой момент мог наладить переправу. Моряки выставили сторожевой пост у брода. На рассвете они, повстречав при выезде из города драгунский разъезд от корпуса графа Палена, повеселели и вместе продолжили путь.

За Полоцком матросы созоровали. Заметили на другой стороне реки французских кирасир – и зачесались руки, кровь заиграла. Но видит око, да зуб неймет: ружейной пулей не достать. И чтобы хоть как-то досадить им, загикали, зафиглярничали. Кавалеристы Мюрата, конечно, оторопели, но, придя в себя, начали подбрасывать маленькие бочонки, орать: «Камрад, дю водка!» Моряки на это ответили, что, мол, в своё время выпьем, не прокиснет. Тогда французы, успевшие кое-где захватить провиантские склады, наперебой захвастались хорошей кормежкой, ехидно намекая на радушие русских. И тут матросы в долгу не остались: земля наша, дескать, испокон веков славится гостеприимством, но есть такой обычай на Руси – с лета откармливать свиней для убоя под Рождество...

Как знать, не было ли это аллегорическим предсказанием будущего жестокого изгнания французов?

Двигаясь вперед усиленными маршами, отряд матросов нагнал свой экипаж у Витебска. Сто десять верст они отмерили за сорок часов, опередив, бывший под начальством

графа Палена, арьергард армии. Оттуда моряки совместно с 5-м гвардейским корпусом перешли в Смоленск в надежде, что, может быть, тут две наши разрозненные армии соединятся священными узами, дадут бой, подобный Полтавскому сражению. И стали с усердием обустройства мосты и переправы через Днепр, готовить к осаде город, памятуя о жребии: или француз будет бит, или дверь в Россию отперта!..

Наполеон также искал у Днепра место для генерального сражения. За исход его не сомневался. И, скрытно проведя свои войска на левый берег у села Расаены, он напрямки махнул к Смоленску, чтобы занять его и ударить по соединенным русским армиям.

Уловка, однако, не удалась. Под Красным дорогу ему заступила дивизия генерала Неверовского, с которой пришлось немало повозиться. И хотя отбросили её к Смоленску, с подкреплением поспел генерал Раевский.

Корпус его также сражался с невероятным мужеством, да силы уж больно неравные: тринадцать тысяч человек против 180-тысячной «великой армии». Необходимо было задержать её у стен, воздвигнутых ещё при Годунове и названных «дорогим ожерельем России». Нельзя, чтобы путь на Москву для русских войск оказался отрезанным.

Четвертого августа, к вечеру, поступило донесение, что французы ворвались в Королевский бастион, овладели мостом через Днепр. Раевский послал туда два батальона, а сам поспешил на помощь к морякам-гвардейцам. Известие оказалось неточным – матросы стояли в каре на ближних подступах к мосту. Капитан 2 ранга Иван Петрович Карцев, желая подбодрить подчиненных, наставлял: «Смерти не бойся; в жизни бывают обстоятельства и мучительнее её». Подпуская мчавшуюся с флангов конницу на ружейный выстрел, моряки вели такой губительный огонь, что кавалеристы, несли большие потери и поворачивали назад.

И на следующий день Наполеон тоже не смог взять Смоленск. Ему всё время приходилось угадывать, что хотят предпринять русские, внезапно показавшие острые зубы, когда их считали уже обессиленными, затравленными. И, в конце концов, распорядился жечь город бомбами, гранатами, ядрами. Шесть часов грохотала канонада, приступом брали стены крепости. И, тем не менее, французская присказка «все средства хороши» разбивалась русским присловьем «Бог нам за простоту пошлёт».

Старый рубеж Отечества снова остался непоколебим. Но цель его защиты была достигнута, и Барклай-де-Толли, довольный «нравственной победой», выведя русские армии на Московскую дорогу, приказал Гвардейскому экипажу с понтонёрами ночью заминировать днепровский мост и уничтожить. План его, не понятый современниками, но оценённый потомками, был благоразумен.

Наполеон же, дорого заплатив за Смоленск и воочию убедившись, чего стоят главные русские силы, сделался осторожным, подозрительным. В отдельные дни «скифского» отступления обнаруживал, что он, как мореход в безбрежном океане, углубляется в необозримые пределы России, на которых наша армия, а с нею и мнимая победа, подобна призракам, то показывались, то ускользали из поля зрения. И потому он, баловень судьбы, иногда пугался мысли, что благоволение капризной фортуны отвернется от него, что устремление французских войск в сердце России выльется в опасное предприятие.

Ещё не единожды Наполеон, надвинув свою треугольную шляпу, приготавливался к генеральному сражению, которое, по донесениям разведки, войска Барклай-де-Толли собирались дать то у сел Лубино и Усвяты, то под Дорогобужем и Вязьмой. Однако праздновали труса. Думалось, что новый главнокомандующий Кутузов, прибывший 17 августа к русским войскам в село Царево-Займище и в тот же день уже распорядившийся так, будто всё от него проистекало с начала кампании, запечатлеет неизгладимые следы своего могущества. Да куда там! И он, о ком с лёта сложили присказки: «Пришёл Кутузов бить французов», «Учтив как барин, дерзок как солдат», – не оправдал скороспелых надежд и попятился, как рак, к Москве. Он твердил себе под нос одно и то же: «Наполеон непобедим, но мы его обманем. Нужна позиция, выгодная для оборонительного боя».

И такое удачное местоположение вскоре отыскалось под Можайском. Войска остановились и стали располагаться лагерем на холмистой местности за Бородином, в углу между

двух речек – Войной и Колочей. Были предприняты меры для того, чтобы до прибытия французов укрепить главные пункты обороны. Но, сделанные на скорую руку, они впоследствии не оправдали надежд.

Воскресный день 25 августа неумолимо клонился к исходу. Противники стояли грудь в грудь, настраиваясь на великий и страшный час. Если французам после военной удачи сулили наслаждения плодами победы, сытую жизнь, отдых с потехой в чужой и древней столице, то русским никто ничего не обещал. Приготовляясь к бою, они вынашивали в душе кровавую месть за поругание храмов, за разорение Руси, за посягательства на древнюю столицу. А когда вдоль линии фронта, по их бивакам, пронесли икону Смоленской Божией матери, клали ей земные поклоны, целовали крест.

Обстановка в стане русских войск была спокойная, сосредоточенная. Возрос спрос на мыло и бритву. Офицеры уже надели чистое бельё; солдаты, сберегшие к случаю белые рубахи, сделали то же самое. Их приготовления эти были не на пир, так как даже на призыв квартиреров: «Водку привезли, ступай к водке!» – многие, чьи сердца были стеснены гневом, отвечали: «Не таков завтра день! Придёт час, возьмём своё, поднимем чарку». И, тайком вздохнув, дальше точили штыки, отпускали сабли, передвигали на удобные высоты орудия, накатывали на батареях насыпь. Словом, собирались с духом и силами на смертную сечу.

Все движения на Бородинском поле не укрывались от пристального внимания Кутузова. Он объезжал позиции, ряды повеселевших солдат. И, увидев парившего в небе исполинского орла, обнажил седую голову. Кто-то в свите закричал «ура!», и возглас этот сразу подхватили войска, принявшие орла как вещий знак свыше.

На семидесятилетнем полководце был сюртук без маршальских эполет и белая фуражка с красным околышем. Полагая ненужным издавать приказ о предстоящей битве, он подъезжал на коне к солдатам и говорил им попросту:

– Братцы, я такой же, как вы – служивый! Вместе будем драться за землю русскую. Только, чур, не плутовать! Биться, так биться, не на жизнь, а на смерть. Каждому воздастся сторицей, ратный подвиг бессмертен! Во всём полагаюсь, на вас, богатыри!

А в ответ неслись возгласы вразнобой:

– Не подведём, отец родной!.. Земля наша древняя, русская, отстоим веру Христову!.. Всяк сверчок знай свой шесток. В какое время, и в каком месте бросать нас в бой кровавый – это премудрость военачальника... Знамо!.. А вот дело солдатское проще пареной репы – крушить врагов не щадя живота своего... Слава богу! У нас и глаз востёр, и рука набита!

Чего скрывать – большинство рвалось в сражение, чтобы показать свою удаль. Однако пуще всех горели нетерпением моряки. Как самостоятельной боевой единице гвардейскому экипажу не удалось выйти на ратное поле, но многим матросам посчастливилось быть в рядах тех войсках, которые и первыми вступили в битву, и последними вышли из неё.

А всё началось, как всегда, неожиданным образом. Ранним утром 26 августа, дивизия Дельсона под прикрытием густого тумана напала на село Бородино, где стоял только один егерский гвардейский полк. Застигнуть врасплох его не удалось, он дрался с необыкновенною храбростью, сдерживая сильнейший натиск превосходящих неприятельских сил. Но, потеряв почти половину людей, отступил за речку Колочу.

Барклай-де-Толли, видя тяжелое положение лейб-егерей, послал на помощь два егерских полка. Вместе они дружно навалились на противника; а когда подоспевшие матросы запалили и разрушили мост, то отход французам был перекрыт, и они попали под истребляющий огонь. Не обошлось без потерь и у моряков: четверых убило, семерых тяжело ранило, двое из которых вскоре скончались.

Таков оказался пролог битвы. Донесения к главнокомандующему о первой схватке на правом фланге генерал Барклай-де-Толли отправил с мичманом Николаем Петровичем Римским-Корсаковым. Кутузов, оценив расторопность морского офицера, оставил его при себе на весь день в адъютантах. И не пожалел. В продолжение всего боя Римского-Корсакова неоднократно посылали с приказаниями на передовую, и своей редкой неустрашимостью, сообщительностью он заслужил похвалу.

Атаку на правый фланг Наполеон, как выяснилось, произвёл для того, чтобы отвлечь внимание Кутузова от центра и левого фланга, куда бросил почти все силы. Семёновские флешы, неоднократно переходившие из рук в руки, были разрушены. При их защите ранило в ногу Багратиона, обожаемого всеми воинами генерала. Он упал с коня на руки подскочившего к нему капитан-лейтенанта Павла Андреевича Колзакова.

Стремительные наскоки на левый фланг кавалерии Нансути, Монбрюна, Латур-Мабура не раз отбивались меткой стрельбой из орудий бригады Эйлера, к которой была приписана артиллерийская команда Гвардейского экипажа. Правда, в начале сражения два орудия моряков, входивших в 1-ю артиллерийскую лёгкую гвардейскую роту, были не у дел и маскировались в кустах между Преображенским и Семёновским полками в линии общего резерва. Тем не менее, ядра рикошетом достигали их. Видя напрасно пролитую кровь, артиллеристы жаждали вступить в битву. И наконец-то им приказали выдвинуться к селу Семёновскому.

Но не прошли ста сажений – ядро сразило капитана Вельяминова. Под свинцовым дождём роту на позицию повёл штабс-капитан Лодыгин. Не мешкая, расставили пушки на небольшой возвышенности рядом с измайловцами и, как говорится, дали прикурить французам: то картечным огнём прерывали лихие атаки кирасир, то ядрами и гранатами забрасывали окопы, батареи. Правда, и сами хлебнули немало горя: почти ежеминутно падали люди и лошади. Гром орудий, свист ядер, треск лопавшихся гранат, звонкое ржание, глухой топот, суетливые крики, вопли, – всё слилось в какой-то тревожно-гибельный гул во имя дальнейшего торжества жизни на Руси. У орудий экипажа сначала замертво склонил голову унтер-лейтенант И. Киселёв, потом контузило и унтер-лейтенанта А.Листа, убило четверых матросов.

Около пяти часов рота пробыла под губительным огнём 30-ствольной французской батареи. Потеряла всех офицеров, кроме Лодыгина, из строя вышло большинство орудий, но снялась с позиций тогда, когда атаки кирасир на измайловцев прекратились. Быстро введя в строй шесть стволов из четырнадцати, рота вновь явилась к селу Семёновскому. И, как выяснилось, подоспела вовремя: Финляндский полк из последней мочи отбивал атаку французской пехоты.

Весь день бесновалась смертоносная канонада. Лишь к ночи битва стала утихать. Лошади павших всадников носились целыми табунами, топча копытами раненых и мертвых; едкий запах дыма стоял в горле; закоптелые лица бойцов, покрытые слоем пыли, голодных, изнуренных долгим напряжением, были страшны; в воздухе висела мгла, в которой сверкали красно-багровым светом залпы сотен орудий.

Лишь только полог ночи на мгновение отсёк навеки запечатленный в сердцах образ Великого Дня Бородина. Неприятель, за редким исключением, отброшенный от места боя, которые занимал до сражения, и потому сильно расстроенный, опасался ночной атаки. Русские сохранили за собой почти все свои позиции. Только в центре и на левом фланге отступили на несколько десятков метров. А подсчёты боевых потерь оказались неутешительные: у нас погибло около 44 тысяч человек, у французов – до 58 тысяч; наша армия лишилась 22 генералов, французская – 49.

После окончания сражения Кутузов, злых козней истребитель, не имея точных сведений о состоянии войск, сгоряча отдал распоряжение к принятию боя на следующий день. Но, узнав о понесённых потерях, стал подумывать не о возобновлении битвы, а о том, как сбереечь армию. И понял: победить можно либо с помощью хитрости, постоянно усыпляя и убаюкивая душу матёрого врага несбыточными надеждами и мечтами, либо при стечении счастливых обстоятельств, которых надо терпеливо ждать.

Его влекла своя завидная судьбина. Чело его было ясно, движенья спокойны. Погружённый в благоразумные расчёты, он в полночь с тяжёлым сердцем отдал секретный приказ об отводе войск за Можайск.

Так кончился этот ужасный день. Обе стороны считали себя победителем – и были правы, потому что сделали всё, что могли.

Совсем другое настроение возобладало наутро во французском лагере. Как только пришло донесение об отступлении русских, Наполеон, гордый и честолюбивый, ещё накануне

провозгласивший себя победителем, искавший тому прямые и косвенные свидетельства о потрясении Кремля; Наполеон, не единожды ставивший на алтарь честь Франции, которую утомил и ослабил своими викториями, купленными ценою жизни лучших сыновей; Наполеон, всегда такой пронзительный, а тут не разглядевший опасности своего положения, – спешно начал собирать под знамёна нетронутую вчера старую гвардию для сокрушения последних преград к всемирному владычеству.

Но в сердце уже роилась мысль: сила-то России как раз и заключалась в нравственном единстве её верхов и низов, недооценённом им. Да, он был по-своему прав, увидев западный уклон российской сановной власти, но сделав на него ставку, опростоволосился. Микронный просчёт, допущенный им в начале пути, привел на итоговом витке событий к роковой ошибке.

Дни Наполеона летели толпою, но многие усилия были тщетны. Он, искатель битв кровавых, терял твердость духа, свежесть сил, цепкость ума, способность играть первую скрипку. Предчувствие обжигало душу: «Обломает бока французского петуха русский медведь!»

Впереди его и впрямь ждали сожжённая Москва и Тарутинское сражение, тяжелое отступление к границе и короткий успех при форсировании Березины. А, в конце-то концов, «битва народов» и роковые «сто дней», Ватерлоо и остров Святой Елены. Тайным промыслом храним, он всё реже вспоминал о славе, о некогда любимой жене Жозефине. Солнце великого императора закономерно катилось к закату, но он не слышал хладного зева могильной пропасти.



Ерёмин Виктор Николаевич родился в 1957 году. Окончил Киншинёвский государственный университет. В лихие 90-е годы активно участвовал в выпуске московских детско-юношеских журналов «Игрушечка», «Юнга». В нынешнее время в творчестве доминируют общественно-политические вопросы, история литературы. Наиболее известные книги: «Правители России: от Рюрика до Путина», «100 великих поэтов», «100 великих литературных героев», «Тайны смерти русских писателей», «100 великих интриг», «Тамплиеры и Цыганская мадонна», «Тяжела ты, шапка Мономаха». Проживает в пос. Чемитоквадже Краснодарского края. Член Союза писателей России.

ТАЙНА ГИБЕЛИ ЛЕРМОНТОВА

История дуэли М.Ю. Лермонтова и Н.С. Мартынова сильно напоминает историю «самоубийства» С.А. Есенина. В обоих случаях власти поспешили обнародовать своё толкование происшедшего. Их версию подхватили многочисленные свидетели и мемуаристы, гадатели и прожектеры. В результате, иные факты, не вклидывающиеся в формальную концепцию, отбрасывались прочь. Те же, кто пытался обратить внимание на явные несоответствия и странности случившегося, объявлялись выдумщиками или дилетантами, не достойными доверия, интереса.

Оба трагических происшествия имеют еще одно редкое сходство – и там, и сям сохранились визуальные материалы, если не опровергающие официальное заключение, то ставящие под сомнение подавляющее большинство свидетельств. В случае с Есениным – это фотография мертвого тела поэта, сделанная криминалистами в первый час после его обнаружения. В случае с Лермонтовым – это художественное полотно «Лермонтов на смертном одре», писанное художником Р.К. Шведе на следующее утро после того, как останки поэта доставили в Кисловодск.

Сейчас я не собираюсь заниматься расследованием тайны века, а лишь расскажу о совокупности фактов и событий, которые и по сей день смущают исследователей гибели Михаила Юрьевича Лермонтова.

Вторая ссылка на Кавказ

В воскресенье 18 февраля 1840 г. в 12 часов пополудни в роще у Парголовской дороги за Черной речкой близ Санкт-Петербурга состоялась дуэль между Э. Барантом, атташе французского посольства в России и сыном французского посла А. Баранта, и М.Ю. Лермонтовым. Секундантом дуэли был друг поэта, его двоюродный дядя А.А. Столыпин (Монго). Причина поединка не известна. Подравшись на шпагах, до первой крови и выстрелив друг в друга, – Барант неудачно, Лермонтов принципиально пальнул в небо – противники помирились.

Согласно правилам чести, Лермонтов и Столыпин обязаны были явиться к своему полковому начальству и доложить о дуэли. Это сделано не было. Только в начале марта слухи о том дошли до непосредственного начальника поэта генерал-майора Н.Ф. Плаутина. Тот немедленно потребовал объяснений. Лермонтов изворачиваться не стал, а длительное молчание свое объяснил тем, что дуэль никаких последствий не имела.

10 марта 1840 г. поэта арестовали. Следом добровольно сдался начальству А.А. Столыпин (Монго). Баранта-младшего к суду не привлекали, а как иностранного подданного выслали из России.

После суда Николай I повелел: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином...». Он, как выяснилось позже, не только дислоцировался на Кавказе, но и являлся одним из основных воинских формирований, взвалившим на себя все тяготы Кавказской войны вплоть до разгрома Шамиля в 1859 г.

Отъезду поэта в ссылку предшествовало важное событие. Друг семьи Барантов, шеф жандармов А.Х. Бенкендорф, который до того времени покровительствовал поэту из уважения к его бабушке Е.А. Арсеньевой, уговаривал его взять всю вину за дуэль на себя. Однако, получив категорический отказ, стал злым духом Лермонтова.

Между 3-5 мая 1840 г. поэт выехал во вторую свою ссылку на Кавказ.

Кружок шестнадцати

Предположительно осенью 1839 г. произошло сближение Лермонтова с группой молодых аристократов, получившей в истории название «кружок шестнадцати» (les Seize). Объединение это можно считать предтечей славянофилов. Впрочем, Лермонтову их идеи явно не были близки. Доказательством тому служат знаменитые стихотворения «Родина» и, бальзам на души отечественных демократов всех мастей, – «Прощай, немытая Россия...»¹, созданные в 1841 году.

К сожалению, перечень участников организации не сохранился, но специалисты к нему причисляют И.С. Гагарина, П.А. Валужева, А.А. Столыпина (Монго), С.В. Долгорукого, А.П. Шувалова, Б.Д. Голицына, А.Н. Долгорукого, Н.А. Жерве, Ф.И. Паскевича, Д.П. Фредерикса. Выдвигаются также предположения, что членами замкнутой группы были также Г.Г. Гагарин, П.П. Шувалов, А.И. Васильчиков, С.В. Трубецкой, Ю.Ф. Самарин.

Сегодня исследователей интересует также и то, каким образом подавляющее большинство из «кружка шестнадцати» почти одновременно с М.Ю. Лермонтовым оказались в действующей армии на Кавказе? Причем в роковой дуэли из шести ее непосредственных участников четверо являлись членами «кружка», пятый – Мартынов – состоял в дружеских отношениях почти со всеми кружковцами (иногда его даже называют участником общества, что сомнительно) и, только шестой, славный М.П. Глебов, фактически стал случайным свидетелем трагедии.

Причины столь близких отношений кружковцев в последние годы жизни поэта официальное литературоведение объясняет так.

Во-первых, «кружок» был раскрыт жандармерией, и чтобы не раздувать скандал, большинство его членов негласно выпроводили на Кавказ, настоятельно «советуя» избрать места боевых действий. Ссылка Лермонтова была вызвана именно этим, а дуэль с Барантом стала лишь прикрытием заслуженного возмездия.

В развитие этой версии приверженцы теории заговора полагают, что члены кружка сочли Лермонтова предателем, сдавшим их организацию жандармам. В связи с этим задумали покарать его смертью. Убийство поэта готовилось год, и было осуществлено руками недалекого Мартынова.

¹ Сегодня авторство последнего стихотворения ряд исследователей оспаривают, утверждая, что оно сочинено неизвестным анонимом.

Во-вторых, «кружковцы» добровольно покинули столицу и отправились на Кавказ в знак протеста против режима, установленного императором.

Любопытно, что с осени 1839 г. и до последней минуты жизни Лермонтов фактически ни на день не расставался с членами «кружка шестнадцати». Он общался с ними в Петербурге, воевал в одной части на Кавказе, был в отпуске в столице, затем возвращался через Москву к войскам, даже в Пятигорске оказался опять же вместе с ними.

Другими словами, вполне правомерна точка зрения, утверждающая, что то, что мы привыкли называть дуэлью Лермонтова и Мартынова, на самом деле было убийством Михаила Юрьевича, совершенным в присутствии и с молчаливого согласия самых близких ему в последние три года жизни людей, которые полагали, что он заслужил такую смерть! Более того, доподлинно установлено, что секунданты способствовали гибели поэта. Когда Лермонтов сказал им о своем нежелании стрелять в Мартынова, те от последнего скрыли эти слова, о которых он узнал лишь в ходе следствия!

Эти факты позволили особо непримиримым сторонникам гипотезы заговора против русского гения выдвинуть собственную, весьма экстравагантную версию: костяк «кружка шестнадцати» изначально был сформирован из «мальчиков» барона Геккерена, который и поставил перед ними задачу уничтожить пришедшее на смену А.С. Пушкину новое солнце русской поэзии. В светских кругах «шайкой Геккерена» (гомосексуалистов) называли П.А. Валуева, И.С. Гагарина, П.В. Долгорукого, Столыпиных (в частности, брата Столыпина (Монго) – Н.А. Столыпина), Трубецких, Шуваловых.

Вновь заговоры

Нынче популярна версия, будто дуэль Лермонтова с Барантом стала первой неудачной попыткой масонов уничтожить второго после Пушкина гения русской поэзии. Правда, никто не объясняет, откуда масоны узнали о гениальности Лермонтова, если большинство его великих творений было опубликовано уже после гибели поэта.

В советское время также муссировалась тема заговора против великого поэта. «Изуверы-заговорщики» перечислялись стандартные: Николай I, граф и графиня Нессельроде, И. Полетика, барон Л. де Геккерен... К ним добавлялись: любимая старшая дочь императора великая княгиня Мария Николаевна; друг покойного А.С. Пушкина В.А. Соллогуб (подло «завидовавший» гению Лермонтова); 70-летний А.А. Кикин, почти не выезжавший по старости лет из своего подмосковного поместья, но плохо отзывавшийся о Михаиле Юрьевиче как о неблагодарном внуке уважаемой Е.А. Арсеньевой, да еще и друживший с семьей Мартыновых; однокашник Лермонтова по юнкерской школе князь А.И. Барятинский, один из богатейших молодых людей России, сосланный на Кавказ по причине волокитства за дочерью императора великой княжной Ольгой Николаевной и другие.

В феврале 1840 г. планы «заговорщиков» провалились из-за трусости Баранта-младшего, но враги русской литературы нисколько не успокоились.

Неудачное вмешательство императрицы

Семья Романовых в целом весьма негативно относилась к Лермонтову и его творчеству. Особенно всех возмущало истеричное и несправедливое стихотворение «На смерть поэта». И только жена Николая I императрица Александра Федоровна одной из первых, даже раньше В.Г. Белинского, прониклась творчеством поэта и увидела в нем гения. Особенно потрясла женщину «Молитва» – «В минуту жизни трудную...»

К сожалению, после 1832 г. влияние Александры Федоровны на мужа ослабело. Тем не менее, предприняла попытку вытащить поэта из ссылки.

В июне 1840 г. в Берлине хоронили отца императрицы короля Фридриха-Вильгельма III. На погребении присутствовал Николай I. В Россию император возвращался без жены, морем. В дорогу Александра Федоровна дала мужу недавно вышедший роман «Герой нашего времени», сопроводив его самыми лестными отзывами и взяв с мужа слово, что непременно прочитает книгу. Император пообещал сделать это самым скорым образом.

В течение двух дней путешествия в обществе А.Х.Бенкендорфа и его заместителя по корпусу жандармов А.Ф.Орлова царь внимательно читал «Героя нашего времени» и его возмущению не было предела! О чем свидетельствует знаменитое письмо к Александре Федоровне от 13-14 июня 1840 г. по поводу лермонтовского романа, бесспорно, вошедшее в классическое наследие русской литературной критики.

Впервые один из достойнейших государственных-практиков российской монархии дал точную аргументированную характеристику классическому произведению национальной литературы с позиций государственных и общественных интересов, а не индивидуалистических, тем паче либеральных вкусов. Краткий вывод был таков: «жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора».

Николай I окончательно пришел к мнению, что Лермонтов есть глубоко безнравственный, бесчестный человек. Отныне о возвращении поэта из ссылки и разговора быть не могло. Лермонтова держали бы на Кавказе до последнего издыхания, подобно тому, как усох душой и телом на берегах сурового Понта великий Овидий, презренный римскими императорами за безнравственность!

Александра Федоровна вынуждена была отступить и признать безнравственность самых популярных тогда произведений писателя – «Героя нашего времени» и «Демона». «Маскарад» был осужден цензурой еще раньше.

В ссылке

10 июня 1840 г. Лермонтов прибыл в Ставрополь, где в связи с недавно разразившейся войной против имама Шамиля располагалась главная квартира командующего войсками Кавказской линии. Таким образом, получив назначение на должность адъютанта, он очутился в Северном Дагестане и Чечне, в подразделении особого назначения «чеченский отряд». И с ходу принял участие в двух его походах: с 6 по 14 июля в Малую Чечню и с 27 сентября по 18 октября в Большую Чечню.

Во время первого похода, 11 июля, на опушке Гехинского леса произошло знаменитое сражение при Валерике – «речке смерти». Во время боя Лермонтов следил за действиями передовой штурмовой колонны и обо всех событиях уведомлял начальника отряда. Это было очень опасное поручение, поскольку наблюдатель постоянно находился в зоне обстрела неприятеля. За свои действия в сражении при Валерике поэт был представлен к ордену Владимира 4-й степени, однако в столице ссыльному в награде отказали.

В экспедиции в Большую Чечню Михаил Юрьевич командовал группой охотников, прозванной Лермонтовским отрядом. «Эта команда головорезов, рыская впереди главной колонны войск, открывала присутствие неприятеля; как снег на голову, сваливалась на аулы чеченцев и, действуя исключительно холодным оружием, не давала никому пощады...» Как подчеркивали очевидцы, Лермонтов «даже в походах... никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появляясь там, где ей вздумается, в поисках самых опасных мест».

По окончании этой экспедиции он был представлен к награде золотой саблей с надписью: «За храбрость». В ней поэту тоже было отказано.

Отпуск: пустые надежды

В середине января 1841 г. Лермонтов с великим трудом получил отпуск – по ходатайству бабушки, которая уверяла императора, что тяжело больна и хотела бы проститься с внуком. Поэт же надеялся добиться в Петербурге отставки и покончить с армейскими делами. Е.П.Ростопчина писала:

«Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости».

Иначе отнеслись к приезду Лермонтова император и Бенкендорф. Только из уважения к Арсеньевой поэту дали возможность провести три месяца в столице. 13 апреля поручику Лермонтову приказали в 48 часов покинуть Петербург и отправиться к месту службы. Надежды на отставку рухнули в одночасье!

Прощаясь с Лермонтовым, князь В.Ф. Одоевский, автор знаменитого «Городка в табакерке», вручил ему фолиант с дарственной надписью: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил ее сам и всю исписанную. Князь В. Одоевский, 1841, Апреля 13-е, СПбург.». Именно в неё последние месяцы жизни поэт записал целый ряд своих величайших творений, в их числе: «Выхожу один я на дорогу...», «Пророк», «Спор», «Сон», «Утес», «Они любили друг друга...», «Тамара», «Свиданье», «Дубовый листок оторвался...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Морская царевна»... Все они были опубликованы уже после гибели Михаила Юрьевича.

14 апреля 1841 Лермонтов выехал на Кавказ в обществе А.А. Столыпина (Монго). Обоим был предписан строгий маршрут: в полк – в Ставрополь, а оттуда в Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск).

По пути остановились в Пятигорске, где с великой радостью встретили старинного приятеля по Школе юнкеров Николая Соломоновича Мартынова.

Верзилины

Друзьям-приятелям удалось добиться разрешения остаться в Пятигорске для лечения на минеральных водах. Медицинские справки о своих «тяжких» болячках купили у врачей. Сняли в Пятигорске домик на двоих у семейства генеральши М.И. Верзилиной и зажили веселой курортной жизнью. Позднее, оставив за собою жилье в Пятигорске, поэт одновременно снял домик в Железноводске и с этого времени жил то там, то сям.

У генеральши Верзилиной было три дочери: приемная по мужу Аграфена, собственная от первого брака Эмилия Клингенберг и совместная со вторым мужем 16-летняя Надежда. Лермонтов с Верзилиными был знаком давно, еще со времен первой поездки с бабушкой на воды. В 10-летнем возрасте он был влюблен в Эмилию Клингенберг, которая в 1840-х гг. называлась в обществе не иначе, как «Розой Кавказа».

Старшие девицы были на выданье, Эмилия даже пересидела «в девках» (по причинам непристойного поведения), а потому в доме Верзилиных часто устраивались вечеринки для молодых офицеров. С 1841 г. в них стала принимать участие и шестнадцатилетняя Надежда, у которой сразу нашлось много кавалеров.

Михаил Юрьевич и Мартынов ухаживали за Эмилией Александровной. Она-то и описала ссору, свидетельницей которой стала.

Ссора

«Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин, и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания... Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем остричь свой язык а qui tieux tieux (взапуски). Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно... Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал остричь на его счет, называя его *montagnard au grand poignard* (горцем с большим кинжалом). (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал.) Надо же было так случиться, что когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово *poignard* (кинжал) раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», – и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: язык мой враг мой, М.Ю. отвечал спокойно: «*Se n'est rien; demain nous serons bons amis*» (Это ничего; завтра мы будем добрыми друзьями). Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что, когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно: «Да», – и тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах».

Дуэль

Подоплека дуэли со слов участников видится столь мелкой, что мало кто верит в честность свидетелей. Ныне существует несколько версий причин трагедии, но, ни одну из них нельзя признать доказанной стопроцентно.

Первую часть дня 15 июля 1841 г., когда была назначена дуэль, Лермонтов провел довольно весело в обществе друзей и своей правнучатой сестры Е.Г. Быховец.

Во второй половине дня близ Пятигорска, у подножия горы Машук состоялась дуэль.

О том, что тогда произошло, мы имеем весьма смутное представление, поскольку участники событий явно сговорились и давали в основном ложные показания. Причины этого сговора – тоже тайна, навеки сокрытая во мраке истории. Кто-то говорит, что дуэлянты сделали все возможное, чтобы преуменьшить собственную вину. Кто-то утверждает, что оставшимися пятерыми участниками дуэли были предприняты действия к тому, чтобы дружески оградить Столыпина (Монго) и Трубецкого от более сурового наказания – оба были ссыльными, и Николай I испытывал к ним особую неприязнь. Странники версии заговора, само собой, разумеется, настаивают на том, что «убийцы замели все следы».

Удивляет то, что секундантов было четверо, а в выработке условий дуэли участвовал еще и пятый – первый командир Лермонтовского отряда, отчаянный забияка и дуэлянт Р.И. Дорохов. Некоторые исследователи предполагают, что он был очевидцем дуэли, но в деле вообще не фигурирует. Так же как два неизвестных местных мальчика, которые, по словам дуэлянтов, знали обо всем, но дали слово молчать. Любопытно, что имена

Дорохова, Столыпина и Трубецкого как участников дуэли стали известны биографам поэта только после их кончины!

В любом случае, если верить Васильчикову и Мартынову, секундантами являлись трое членов «кружка шестнадцати» – титулярный советник князь А.И. Васильчиков, капитан А.А. Столыпин (Монго) и штабс-капитан С.В. Трубецкой. Четвертый секундонт – корнет М.П. Глебов – был просто общим приятелем. Васильчикова и Глебова нынче называют официальными секундантами, Столыпина и Трубецкого – негласными.

Дуэль произошла примерно в 7 часов вечера на небольшой поляне у дороги, ведущей из Пятигорска в Николаевскую колонию вдоль северо-западного склона горы Машук, в 4 верстах от города. Использованы были дальнобойные крупнокалиберные дуэльные пистолеты Кухенройтера с кремнево-ударными запалами и нарезным стволом, принадлежавшие А.А. Столыпину (Монго).

По предположениям лермонтоведов, все участники дуэли, за исключением Мартынова, всерьез ее не воспринимали, а потому Р.И. Дорохов, игравший главную скрипку в выработке условий дуэли, предложил самый жесткий вариант из всех возможных. Кто-то считает, что этим Дорохов хотел остудить пыл драчунов, кто-то – что он хотел гарантированного убийства Лермонтова...

Мартынов показал: «...Я первый пришел на барьер; ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок...». Васильчиков его дополнил: «...расставив противников, мы, секунданта, зарядили пистолеты, и по данному знаку господа дуэлисты начали сходить: дойдя до барьера, оба стали; майор Мартынов выстрелил. Поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела; из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух». Глебов дополнил: «Дуэлисты стрелялись... на расстоянии 15 шагов и сходились на барьер по данному мною знаку... После первого выстрела, сделанного Мартыновым, Лермонтов упал, будучи ранен в правый бок навывлет, почему и не мог сделать своего выстрела».

Тут в показаниях явная и преднамеренная путаница, и не понятно кто врет. Дело в том, что как только стало известно о гибели Михаила Юрьевича, по Пятигорску сразу начали распространяться слухи, будто Лермонтов категорически отказывался стрелять в противника и пустил пулю в небо, а Мартынов долго целился и убил поэта. Именно эти слухи были записаны в дневниках и распространились посредством многочисленных писем. Современные медики утверждают, что описанное судебно-врачебной экспертизой ранение поэт мог получить только при высоко поднятой им правой руке, да еще, если он изогнулся, чтобы не потерять равновесие, да еще стрелявший должен был находиться, ниже своей цели. Короче, при условии, что Лермонтов исполнял перед Мартыновым какой-то дикий балет или занимался эквилибристикой.

Необходимо учесть и еще одну версию происшествия. Высказал ее современник событий П.И. Арнольди: «Я полагаю, что вся молодежь, с которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли, полагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго, струсит и противники помиряются... Не присутствие ли этого общества, собравшегося посмеяться над Мартыновым, о чем он мог узнать стороной, заставило его мужаться и крепиться и навести дуло пистолета на Лермонтова? Другими словами, из кустов за дуэлянтами могли следить несколько десятков любопытных глаз! Публика развлекалась в предвкушении позора Мартынова!!! А когда свершилась трагедия, все разбежались от греха подальше и молчали».

Далее участники дуэли рассказали: «Лермонтов получил огнестрельное ранение около 18 часов 30 минут...»

Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу...

Неожиданный строгий исход дуэли даже для Мартынова был потрясающим... бросился он к упавшему. «Миша, прости мне!» – вырвался у него крик испуга и сожаления...

В смерть не верилось. Как растерянные стояли вокруг павшего, на устах которого продолжала играть улыбка презрения. Глебов сел на землю и положил голову поэта к себе на колени... Васильчиков поехал за доктором; Мартынов – доложить коменданту о случившемся и отдать себя в руки правосудия...

Между тем, в Пятигорске трудно было достать экипаж для перевозки Лермонтова. Васильчиков... старался привезти доктора, но никого не мог уговорить ехать к сраженному. Медики отвечали, что на место поединка при такой адской погоде они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого... С большим усилием и за большие деньги... удалось, наконец, выслать за телом дроги (вроде линейки). Было 10 часов вечера.

...Тело Лермонтова все время лежало под проливным дождем, накрытое шинелью Глебова.... Наконец, появился долгожданный экипаж... Поэта подняли, и положили на дроги. Поезд... тронулся».

Ничего не известно

Необходимо указать на два важнейших обстоятельства, которые смутят любого непредвзятого человека.

1. Никто не знает, где точно произошла дуэль! Описание следственной комиссии конкретных ориентиров не даёт. Место дуэли начали искать с 1878 г. на основании указаний престарелого извозчика Кузьмы Чухонина, вывозившего труп поэта. Старик столь запутался сам и запутал поисковиков, что пришлось собирать целую комиссию для установления истинного места дуэли. Уже в 1881 г. член этой комиссии профессор П.А. Висковатый вынужден был признать, что с точностью определить таковое не представляется возможным. А та площадка, которую уже долгие годы показывают туристам и «исследуют» лермонтоведы как место гибели поэта и где установлен памятник, была выбрана наугад, методом тыканья пальцем.

2. Поразительно, но не сохранилось даже точных сведений о месте первоначально захоронения поэта в Пятигорске! При погребении присутствовали, чуть ли не все жители города и окрестностей, а к 1880-ым годам уже никто ничего не помнил, ориентиры же – ближние к лермонтовской могилы, были уничтожены ранее по указанию властей. Так что сейчас туристам показывают памятный знак на месте, тоже выбранном волевым решением за неимением доказательств. Основной приметой оказалось захоронение профессора Дядьковского.

Смерть профессора Дядьковского

Эта история составляет важнейшую часть тайны гибели Лермонтова. Историки и литературоведы старательно делают вид, что события эти случайные и никакого отношения к дуэли не имеют. Только сторонники версии заговора оперируют ими как косвенным, но очень веским доказательством убийства.

Накануне дуэли на Воды приехал московский профессор медицины И.Е. Дядьковский, один из самых авторитетных врачей России за всю историю нашей страны. Он не раз пользовал бабушку Лермонтова. Предполагают, что по ее просьбе Дядьковский приехал специально, чтобы найти возможность уволить поэта из армии по состоянию здоровья.

Михаил Юрьевич пригласил доктора на вечер к Верзилиным, где перезнакомил со всеми будущими участниками дуэли. Ссора с Мартыновым произошла, чуть ли не на следующий день после этого знакомства. Сторонники версии заговора утверждают, что Дядьковский испугал кружковцев – Лермонтов мог вновь от них ускользнуть, а посему провокация с дуэлью была ими форсирована.

Неизбежно возникает вопрос: почему после дуэли секунданты обращались за помощью ко всем местным лекарям, но не к врачу – европейской знаменитости, которого все дуэлянты знали как друга Лермонтова и его бабушки?

Далее. Высказываются предположения, что Дядьковский провел собственное освидетельствование трупа погибшего и пришел к совершенно иным выводам, чем официальная экспертиза. Однако поделить своими выводами профессор не успел. Через неделю после гибели Лермонтова, 22 июля 1841 г. Дядьковский скоропостижно скончался в Пятигорске при весьма странных обстоятельствах. Медэксперт установил, что доктор медицины с европейским именем умер «от большой дозы принятых лекарств»! Лермонтоведение утверждает, что смерть Дядьковского наступила в результате потрясения от гибели поэта. Это притом, что не такими уж близкими друзьями они были, а в те времена доктор в силу своей профессии со смертью человека сталкивался постоянно.

Все бумаги Дядьковского в Пятигорске пропали!

Дуэль или убийство?

Перейдем к не менее любопытной загадке, исходящей от сторонников версии заговора: а была ли дуэль вообще?!

Достоянием общественности стала история о том, что в городском музее Геленджика в неучтенных архивах долгое время хранилось письмо некоего жителя Пятигорска к его безымянному приятелю. В письме рассказывалось, что вечером 15 июля 1841 г., возвращаясь, домой из-за города, он видел на обочине дороги труп убитого человека и при нем солдата. Приблизившись, автор письма узнал в убитом Лермонтова!.. Во время Великой Отечественной войны музейные архивы Геленджика не успели эвакуировать, и они погибли. Такие «факты», бесспорно, несут характер обывательской сплетни.

Однако существенно противоречат показаниям дуэлянтов подшитые в дело, но редко публикуемые показания их слуг, которые как один заявили, что, безотлучно пребывая дома, не видели, чтобы их господа, за исключением Мартынова, вместе выезжали в степь или еще куда. А Лермонтов вообще не мог с ними быть, поскольку первую половину дня пребывал в Железноводске. Более того, на основании записей сохранившегося журнала приема лечебных ванн исследователями делаются предположения, что в Пятигорске поэт не появлялся с 12 июля, а если так, то вся история ссоры 13 июля рассыпается.

Далее, пятигорский священник В.Д. Эрастов утверждал, что в час, когда должна была происходить дуэль, он видел всю компанию «секундантов», но без Лермонтова и Мартынова, на улицах Пятигорска.

Согласно предположениям сторонников версии заговора, Мартынов один поджидал Лермонтова на дороге между Машуком и Перкальской скалой. Заметив приятеля, поэт подъехал к нему и тут же получил пулю в правый бок в упор. Из всех возможных именно этот вариант наиболее убедительно подтверждается описанием раневого канала.

К этому добавим только фрагмент из свидетельства следователя Ольшанского 2-го: «На месте, где Лермантов упал и лежал мертвый, приметна кровь, из него истекшая...» Никаких иных следов присутствия других людей не обнаружено. Как говорится: и дождь смывает все следы.

Рассказать о том, что происходило после гибели Михаила Юрьевича в Пятигорске, невероятно сложно по причине сомнительности свидетельств. Обратим внимание на наиболее существенный момент: с первого же дня по Пятигорску пополз слух не о дуэли, а о заранее подготовленном убийстве поэта!

Наводит на такие предположения и записка Л.А. Сидери, отец которого А.Г. Сидери был в те дни плац-адъютантом при пятигорском комендантском управлении. Там, в частности, сказано: «Отец мой [А.Г. Сидери] доложил об этом [о дуэли] коменданту. Комендант

полковник Ильяшенков, человек старый, мнительный, почему-то не велел разглашать об этом. Тело лежало за городом, у подошвы горы Машука, на месте дуэли; было очень жарко в июле, а особенно на Кавказе. Пока тянули медленно дознание, труп уже значительно распух, и при вскрытии чувствовался сильный запах».

Большинство исследователей сомневаются в этом свидетельстве, поскольку доподлинно известно, что медицинское освидетельствование покойного было произведено визуально и большинство свидетелей утверждают, что останки поэта были привезены в Пятигорск около 11 часов ночи 15 июля. Не учитывается тот момент, что Сидери мог сказать о вскрытии по привычке, то есть ошибся, но главным в его свидетельстве является утверждение, что 16 июля труп Лермонтова разлагался так, будто после наступления смерти прошло суток двое.

Картина Р.К. Шведе

Сохранилась картина Р.К. Шведе «Лермонтов на смертном одре». На ней поэт изображен с отпавшей нижней челюстью! Те, кому доводилось сталкиваться со смертью человека, знают, что одно из первых дел, которое совершается в отношении умершего – это подвязывают или каким-либо иным способом закрепляют ему нижнюю челюсть, чтобы покойный не лежал в гробу с открытым ртом. Вывод может быть один из двух: либо до наступления трупного окоченения до Лермонтова никому не было никакого дела, либо труп поэта был привезен в город минимум через 12 часов после наступления смерти.

Медицинское освидетельствование

Картину Р.К. Шведе дополняют выводы медика Н.П. Раевского, принимавшего участие в обмывании покойного. Он по характеру ранения полагал, что пуля не задела сердце поэта, а следовательно тот жил еще несколько часов, т.е. был убит не в описываемое время, а гораздо раньше.

К прямо противоположному выводу пришел лекарь Пятигорского военного госпиталя, И.Е. Барклай-де-Толли, назначенный властями судебно-медицинским экспертом по данному делу. На основании наружного осмотра трупа эксперт пришел к выводу, что пуля попала прямо в сердце, и Лермонтов умер мгновенно. В документе, в частности, было записано: «При осмотре оказалось, что pistolетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны».

Описание предположительного раневого канала вызвало к жизни вариацию версии заговора: Лермонтов был застрелен наемным убийцей, сидевшим неподалеку от места дуэли в кустарнике на скале. Первым эту «утку» запустил С.Д. Коротков, авантюрист, волею судьбы, оказавшийся в 1932-1937 гг. директором музея «Домик М.Ю. Лермонтова» в Пятигорске. Таким «открытием» новых фактов вероломства царизма он пытался пробить себе путь маститого лермонтоведа. Короткова быстро разоблачили. Но уже после войны столь скандальную тему подхватил замечательный отечественный писатель К.Г. Паустовский. Специалисты научно доказали, что подобное тайное преступление незаметно произойти в те времена никак не могло.

Гораздо важнее, чем опровержение глупости о снайпере, другое: в российской армии имелось особое Наставление по порядку обследования огнестрельных ранений. Барклай-де-Толли это Наставление, равное по силе военному приказу, проигнорировал, но никаких нареканий ему за это со стороны начальства не последовало!

Погребение

17 июля 1841 г., ближе к вечеру состоялись похороны. Поскольку «окостенелые члены трудно было распрямить; сведенных же рук расправить так и не удалось, и их покрыли простыней», остается открытым вопрос: в гроб покойному сломали челюсть, чтобы закрыть рот, или так и похоронили, как он изображен на картине Шведе?

Согласно закону человек, погибший на дуэли, приравнивался к самоубийце. Поэтому священнослужители отказались хоронить поэта по христианскому обряду. Настоятель местной церкви отец П. Александровский отпел Лермонтова на собственный страх и риск. За это впоследствии был оштрафован Кавказской духовной консисторией на 25 руб. – для провинциального священника это были огромные деньги.

Только под давлением военной администрации священники согласились похоронить поэта на местном кладбище, ибо дуэлянтов следовало закапывать, как самоубийц, в неосвященной земле.

На погребение пришли почти все жители Пятигорска и окрестностей.

Следующим после похорон вечером, 18 июля, состоялся отложенный по причине грозы 15 июля бал князя Голицына в «казенном саду». Большинство дамочек, в их числе и Верзилины, тяжело «страдавших» и проливших немало слез по великому поэту, отменно повеселились и натапцывались до упаду. При этом всем им было «как-то не по себе».

Впоследствии Е.А. Арсеньева добилась разрешения на перезахоронение останков внука. Посланные ею крепостные мужики привезли прах поэта в Тарханы, где 23 апреля 1842 г. по православному обряду похоронили Лермонтова в фамильном склепе, рядом с матерью и дедом.

Следствие, суд, приговор...

Вернувшись в Пятигорск, Глебов немедленно отправился к коменданту В.И. Ильенкову и доложил о случившемся. Бедняга комендант впал в истерику, бегал по комнате и со слезами в голосе кричал:

– Мальчишки, мальчишки, что вы со мною сделали!!!

Глебова и Мартынова тот час арестовали. Следующим утром взяли Васильчикова.

Следствие велось исключительно в пользу подсудимых. Им разрешалось согласовывать свои показания, порою, следователи даже диктовали, что писать и что говорить. Дело было закончено 30 июля.

В сентябре участь Мартынова и Васильчикова решал Пятигорский окружной суд. И здесь произошел неожиданный казус. Суд вздумал по-настоящему расследовать случившуюся трагедию, подозревая, что вместо дуэли было убийство!.. И тут вовремя подоспело распоряжение Николая I: освободить троих участников дуэли из-под ареста и предать военному суду.

Императору Николаю I о гибели Лермонтова доложили в начале августа. Государь по окончании литургии, войдя во внутренние покои откушать чай, громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке, – собаке – собачья смерть!» Сидевшая за чаем, великая княгиня Мария Павловна... вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре (на десять лет его старше) и, вернулся в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».

Военный суд над участниками дуэли начался 27 сентября 1841 г. 3 января 1842 г. Николай I вынес окончательный приговор: «Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного же советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжелой раны».

Дальнейшая судьба Мартынова

После вынесения окончательного приговора Н.С. Мартынов перебрался в Киев, где в течение нескольких лет в монастыре исполнял суровую епитимию, наложенную на него решением Киевской духовной консистории сроком на 15 лет. Епитимия предполагала: изнурительные молитвы, продолжительные посты, паломничество и прочее. Одновременно «...Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова и посланный в Киев на церковное покаяние, которое, как видно, не было строго, потому, что Мартынов участвовал на всех балах и вечерах и даже через эту несчастную дуэль сделался знаменитостью».

Мартынов дважды обращался с просьбой о сокращении срока епитимии. В 1843 г. Синод сократил её до 7 лет, а в 1846 г. осужденный был от неё освобожден полностью.

Надо признать, что светское общество и двор в целом были на стороне осужденного. С особой четкостью обрисована она в «Записках» А.О. Смирновой (Россет): «У Карамзиных много спорили о дуэли. Виельгорский прав. Пушкин мстил за свою честь, а главное — за честь жены. Лермонтов оскорбил товарища; вина, увы, на его стороне, и с его взглядами против дуэли он ещё более виновен, так как почти принудил к ней Мартынова, и даже в этом какой-то фатализм, ирония судьбы. Государь дважды отсылал его, чтобы избежать дуэли, и все-таки он убит, и из-за такой ничтожной причины... Бог знает, где правда, но теперь видна разница между ним и Пушкиным, она чувствуется. Нашего дорогого Пушкина жалели как поэта и как человека. У него были друзья, а враги его были посредственности, педанты, легкомысленные модники. Лерма не имел друзей, оплакивают только поэта. Пушкин был жертвою клеветы, несправедливости, его смерть являлась трагичною, благодаря всему предшествовавшему; смерть же Лермонтова — потеря для литературы, сам по себе человек не внушал истинной симпатии...»

В 1845 г. Мартынов женился, у него родились пять дочерей и шесть сыновей. Николай Соломонович ежегодно в день гибели поэта справлял по нему панихиду. Недоброжелатели же рассказывали, что в этот день он обычно с утра валялся пьяный в стельку.

Демократические слои российского общества шарахались от убийцы Лермонтова как от прокаженного, всячески хулили его и выдумывали о нём всевозможные мерзости.

Переехав в Москву, Мартынов жил уединенно, стал мистиком и заклинателем духов. Умер он в 1875 г. на 60-том году жизни. В завещании Мартынов просил похоронить его на погосте принадлежавшего его отцу села Знаменское под Москвой, в отдельной могиле и без надгробия — зная повадки толпы, он опасался глумления над его прахом. Родные не послушались и похоронили Николая Соломоновича в фамильном склепе.

В 1924 г. в бывшем имении Мартыновых обосновалась колония для беспризорников. Когда ребятам рассказали о дуэли Лермонтова и Мартынова, они ночью проникли в склеп, вытащили останки Николая Соломоновича и развесили кости по деревьям. Перезахоранивать их никто не стал, а склеп засыпали землей.



ВАЛИЕВ Валерий Абдурахманович – родился в 1942 году в городе Орджоникидзеабат в Таджикистане. Образование высшее. Окончил Таджикский Госуниверситет (филологический факультет) и Московский институт патентоведения. Печататься начал с 1965 г.: в газетах «Фрунзевец», «Вечерний Душанбе», «Комсомолец Таджикистана» и др. Работал: директором Дворца пионеров, в Госпрофтехобре в Душанбе, где вышла и его первая книга «Шаг в науку». С 1986 г. работает в ФДЦ «Смена» в Сукко, занимается поисково-краеведческой деятельностью. Выпустил целый ряд журналов «Рабочая смена», две книги детского творчества «Юная страна Профтех». Его статьи по истории Анапы помещены в книгах: «Книга памяти с. Сукко», «Мужество сквозь юность пронесли», «Анапа в названиях и именах», «Анапа – город воинской славы» и многих других. Редактировал краеведческий журнал «Синдская Гавань» (4 номера), публиковался в местных СМИ.

Лауреат международных и российских журналистских и педагогических конкурсов. Награждён медалями: «Патриот России», «За увековечивание памяти Отечественной войны 1812 года», «За выдающийся вклад в развитие г.-к. Анапа». Член Союза писателей г.-к. Анапа.

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР, КУБАНЬ и АНАПА

Работая над курсом «Кубановедение» и история Анапы, я обратил внимание на то, что российский императорский двор еще с Петра I был равнодушен к судьбе нашей нынешней малой родины и Кубани в целом. И захотелось узнать: кто из Романовых бывал на Кубани или оставил след в Анапе, и как это повлияло на развитие нашего края.

Северный Кавказ, Черноморское побережье Кавказа и Кубань издавна привлекали внимание правителей Российской империи, потому что эти земли обрели важное военно-стратегическое, экономическое и политическое значение. Вот почему Анапа, Кубань, Азовское и Черноморское побережье Кавказа в течение многих веков, особенно в VII-XX вв., были ареной ожесточенной военно-политической и экономической борьбы России с Турцией, Англией, Францией, Германией и другими государствами.

Так кто же из Романовых имел непосредственное отношение к Кубани, Тамани, и к будущему городу воинской славы – Анапе? Пристальный взор на Азовское и Черноморское побережье Кубани обратил первый российский Император ПЕТР Великий по утверждению исследователя Н. Бэрзэджа.

После успехов на Балтике Россия устремилась на Северный Кавказ, где ещё не было политического и военного единства местных племен. В связи со стремлением Турции к господству в этом регионе России необходимо было военное присутствие на Кавказе для контроля за её действиями. Овладение Кубанью и Кавказом должно было нанести удар по торговым интересам Турции и Англии. И, наконец, главной целью России было возвращение выхода к теплым южным морям.

Еще готовя свои потешные полки, будущий император внимательно отслеживал события на южной границе. Продумывая свой первый поход под Азов, Пётр дезинформировал турок и татар известием о готовящемся походе в Крым.

Весной 1695 года в пешем порядке Преображенский, Семеновский и Бутырский полки и московские стрельцы во главе с генералом Гордоном подошли к Азову и начали осаду крепости. Другая часть войска на кораблях с самим молодым государем (бомбардиром Петром Алексеевичем) спустились в Азовское море. С 5 июля при штурме Азова казаки, именитые полки и пушкари проявляли массовый героизм. И пали мощные крепостные башни. Радостный Пётр уже писал «...по взятии оных, яко врата к Озову счастья отворились». Но несколько штурмов самой цитадели крепости без поддержки с моря оказались безуспешными, и 27 сентября царь отвел войска. Вот таким был первый его визит к приазовским берегам Кубани.

Но молодой государь был упрям и приказал строить военный флот в Воронеже. 27 мая 1696 года русский теперь уже военный флот появился у Азова, а 7 июня началась вторая его осада. Войсками командовал Шеин, но и Император не был без дела. В конце июля Азов был взят, а следом сдалась и крепость Лютик. Пётр ликовал. Эта победа имела огромное политическое значение. Таким путем первый российский император ступил на Азовский берег Кубани, почти в двухстах километрах от Анапы. Не случайно, спустя 315 лет, среди первых бюстов на Аллее российской славы в ФДЦ «Смена» по праву установлен бюст Петра Великого. Теперь России нужны были Крым, Чёрное море и его побережье. К этому времени границы России уже тесно соприкоснулись с черкесскими землями.

15 февраля 1709 года в письме к азовскому губернатору И.А. Толстому Император предложил обратиться к черкесам, «которые ныне воюют с крымцы: похотят ли они с нами заодно быть». Как видим, намерения России по отношению к горцам в то время были вполне миролюбивые. Пётр I силой оружия и мирными путями пытался вернуть земли, где когда-то процветало древнерусское княжество Тмутаракань, о чем он тогда еще просто не знал.

В 1711 году Петр I создал Кубанский корпус и приказал совершить поход до среднего течения Кубани, чтобы сковать действия татаро-ногайской конницы. После Ивана IV, женатого на черкешенке Марии Темрюковне, при дворе появились потомки Темрюковского князя – Черкасские. Так, «Единственной наследницей А.М. Черкасского – канцлера при дочери Петра I – Елизавете – была его дочь от второй жены – Марии Юрьевны Черкасской, урожденной княжны Трубецкой, блиставшей своей красотой на знаменитых ассамблеях Петра I. Камер-фрейлина Елизаветинского двора Варвара Алексеевна Черкасская стала женой сына петровского фельдмаршала графа П.Б. Шереметьева». Так политические связи России и Черкесии переплелись в семейных узах императорского двора и его окружения.

Пётр I, надеясь, что эмансипация России на юг будет продолжена, завещал будущим преемникам России: «Неустанно расширять свои пределы к северу и к югу, вдоль Чёрного моря... Основывать верфи на Чёрном море, мало-помалу овладевать как этим морем, так и Балтийским, ибо и то и другое необходимо для успеха плана... восстановить, если возможно, древнюю торговлю» (Н. Бэрэддж). А главное – «Возможно ближе придвигаться к Константинополю и Индии. Обладающий ими будет обладателем мира» (там же). Это завещание чётко предопределило круг интересов российского императорского двора в этом регионе на многие века.

Даже Императрица Анна Иоановна за свое короткое правление успела оставить след на Кубани, отдав в 1735 году приказ о выступлении русских войск и казаков во главе с атаманом Фроловым против черкесов и некрасовцев, занимавших территорию за правом берегом Кубани. Через год, во время русско-турецкой войны, уже 25-тысяч донских казаков под командованием атамана Краснощёкова совершили новый поход с целью завоевания Кубани.

Ещё больший вклад для возвращения тмутараканских земель России внесла Екатерина II. Она вела целенаправленную политику и боевые действия против Турции с целью присоединения Крыма, а затем и правобережья Кубани к России.

Здесь уместно привести тайную переписку английских послов с МИД Англии. Так, сэр Р. Гуннинг в своем донесении описывал радость Екатерины II по случаю подписания Кучук – Кайнарджийского договора с Турцией 21 июля 1770 г., в разработке которого она сама принимала непосредственное участие. 30 ноября 1770 г. граф Рошфор писал лорду Каскарту о господствующем в Петербурге общественном мнении относительно торговых планов через Чёрное море после договора: «Цель России при этом проекте, очевидно, состоит в том, чтобы проложить себе кратчайший путь в Средиземное море... плавание по Чёрному морю вместе с турками и при исключении всех прочих народов должно послужить для России значительным и прочным увеличением силы и богатства». Чрезвычайный посол Англии в России сэр Роберт Гуннинг писал статс-секретарю Англии по иностранным делам графу Суволюку 24 июля 1774 г.: «Суть договора – независимость Крыма в столь полном и широком смысле... Свободное плавание через Дарданельский пролив, с предоставлением всех льгот». Потому Екатерина ликовала, как императрица, победившая в политическом сражении, и радовалась, как женщина, выигравшая у заграничных государственных мужей.

В июле 1771 года Тамань и Темрюк заняли русские войска. Через год она подписала грамоту, по которой запорожские казаки поселились на землях древней Тмутаракани. И они помнили наказ Екатерины: «старанием заслужить звание добрых и полезных граждан внутренним благоустройством и распространением семейного житья...».

Когда казаки высадились на Тамани, был найден «тмутараканский» камень с надписью, говорившей, что князь Глеб по льду измерил пешком расстояние от Керчи до Тмутаракани. Эта надпись точно указывала на месторасположение древнерусского княжества на Тамани, сведения о котором были утеряны. Екатерину заинтересовала историческая надпись, подтверждавшая правильность ее действий по возвращению древних российских земель. Так правобережье Кубани прочно вошло в состав Российской империи. На очереди было Черноморское побережье Кавказа с турецкой крепостью Анапой, которая являлась ключом к овладению берегами Кавказа.

При Екатерине II русские войска подходили к Анапе трижды. Во время второй турецкой войны, чтобы отвлечь турок от Крыма, генерал Н.А. Текелли в 1788 г. совершил первый поход на Анапу. Войска подошли к крепости, но после нескольких стычек с противником, отступили. Это была, говоря военным языком, разведка боем. Так русские впервые побывали у будущего города воинской славы России – Анапы, испытали силу ее гарнизона и мощь крепостных стен.

За неудачный второй поход к Анапе, совершённый без её ведома, Екатерина II разжаловала генерала Ю.Б. Бибикова и отдала его под суд. А вот всех солдат наградила специально отчеканенной серебряной медалью «За верность». И не за победу, а за вынесенные тяготы, лишения при достойном отступлении и сохранении чести русского воинства. Даже в медали отражено внимание императорского двора к Анапе.

Неудачные походы русских войск к Анапе создали ей славу «неприступной крепости», воодушевили турок и черкесов. Но 22 июня 1791 г. по распоряжению Императрицы граф И.В. Гудович после кровопролитного штурма взял крепость. Трофеи были огромными – одних знамен более 130 и 95 орудий. В донесении Екатерине II князь Потёмкин писал: «Воинство Вашего Императорского Величества, столь храбро подвизавшееся при покорении Анапы, а с оным и себя повергаю чрез сие к священным Вашего Императорского Величества стопам».

Императрица хорошо была осведомлена об Анапе и ее значении для России. Она понимала – Анапа и Черноморское побережье Кавказа могут и должны стать морскими воротами Юга России, что подтвердилось дальнейшей историей. И царское правительство рассчитывало на эти плодородные земли уже в те времена, предопределяя Кубани славу житницы России. Не случайно новый фаворит Её величества граф

П. Зубов передал атаману А. Головатому два мешка египетской пшеницы, чтобы выявить, как она уродится здесь. А 18 марта 1794 года Указом Екатерины в Екатеринодаре учреждались четыре крупнейших на Кубани ярмарки с целью развития здесь торговли.

Екатерина II оставила след и в культовом плане, повелев Синоду разрешить казакам строить храмы и направить в них священников. В 1794 г. был учрежден первый монастырь Екатерино – Лебяжская Николаевская пустынь. В своем Указе Императрица писала: «Снисходя на прошение Нашего верного Войска Черноморского войскового правительства и старшины, Всемилостивейше позволяем: в селениях сего войска, в избранном ими месте, устроить монашескую пустынь...».

Екатерина не была на Кубани (вопреки легендам), но она внимательно следила за развитием казачества, старалась расширить российские земли. Её деятельность в этом регионе была настолько активна, что в 1775 году сам султан Турции присвоил Екатерине II титул падишаха за успехи на Чёрном море и Кубани. И вполне естественно, что бюст Императрицы украсил Аллею российской славы в ФДЦ «Смена».

Казачи в знак благодарности своей покровительнице называли её именем города и станицы. 10 ноября 1896 г. Екатеринодарская Дума постановила: 24 ноября, в день тезоименитства Екатерины II, праздновать годовщину основания города. В сентябре этого же года был заложен памятник в её честь, который был открыт в 1907 г., а вторично – в 2006 г.

Павел I запретил кубанским казакам производить набеги на черкесское Закубанье, желая мирным путем расположить к России горцев, и это делает ему честь. С благословения Императора в Екатеринодаре в 1803 г. открылась 1-я казачья школа.

Не обделял своим монаршим вниманием Кубань и Александр I. В феврале 1802 г. по его Указу правительство ЧКВ было приведено в соответствие с донским.

18 мая 1811 года в С. Петербурге была создана Черноморская гвардейская сотня, смотр её готовности произвел сам Император. В марте 1812 года её направили на границу, где она, проявив бесстрашие, первой вступила в бой с конницей Наполеона. Эта гвардейская казачья сотня 1 января 1813 г. была преобразована в Его Императорского Величества собственный конвой.

В то же время, чтобы привлечь горцев, Монарх ещё раньше, в 1821 г., Высочайше утвердил «Правила торговых отношений с черкесами», на что тут же отреагировали турки своей антироссийской пропагандой. При Александре I Высочайше была утверждена форма для черноморских казаков и для Его Императорского Величества собственного конвоя.

1825 год. Восстание на Сенатской площади. На Кавказ и Кубань потянулись арестантские подводы с декабристами. Став Императором, Николай I, помня о завещании Петра I, продолжил укрепление России на Чёрном море и Северном Кавказе. С началом русско-турецкой войны в 1828 году, он приказал начать военные действия у турецкой крепости Анапы, «дабы падение её послужило одним из первых чувствительных ударов, нанесённых Порту» (С. Эсадзе).

Именно при этом Императоре после победы над турками в 1829 году был подписан Андрианопольский мирный договор с Турцией, по которому «Ахалцихский пашалык, крепости Поти и Анапа, весь Закубанский край и побережье Черного моря» официально вошли в состав Российской империи. Это явилось одной из причин затяжной и кровопролитной Кавказской войны с черкесами не согласными с договором, и которые считали, что Турция никогда не владела их землями и не могла их передать России. Понимая, в какой конфликт ввязывается Россия в Закубанье и на Черноморском побережье, Николай I писал на Кавказ фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу: «Кончив, таким образом, одно славное дело, предстоит вам другое, в моих глазах столько же славное, а в рассуждении пользы гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных» (С. Эсадзе).

Но были попытки и мирных решений вопроса. Так, по Высочайшему распоряжению в 1834 году в кадетские корпуса впервые были зачислены десятки юных горцев. В мае 1837 года Николай I обратился с воззванием к натухаям, шапсугам, абадзахам и другим

адыгским племенам с предложением мира, но черкесские предводители ответили, что дружба и согласие воцарятся здесь лишь после того, как Россия выведет свои войска за Кубань и разрушит свои крепости. Такой ответ развязал руки российскому Императору для новых карательных экспедиций в горы. Он приказал занять выгодные бухты и для предотвращения сношений горцев с турками, построить Черноморскую береговую линию укреплений, в которой наиболее мощной считалась уже русская крепость Анапа.

Николай I пожелал ознакомиться с новым краем. 20 сентября 1837 года на пароходе «Полярная звезда» с Наследником Цесаревичем он прибыл в Геленджик, а через три дня в Анапу. Осмотрев госпиталь, Император награбил Георгиевскими крестами раненых. Он отстоял молебен в храме Святого Онуфрия, который является украшением нашего курорта. В память о посещении Анапы Императором, была названа улица Николаевская.

Монарх поддержал предложение генерала Раевского об открытии для горцев школ в Новороссийске и Анапе. А ещё раньше Указом Императора горским юношам из родовитых семей разрешалось учиться в русских гимназиях и военных училищах. Это делалось не только с целью просвещения горских народов, но и с целью приобщения черкесов к государственной службе и их влияния на народ. Так, 7 июля 1853 г. он подписал Указ о передаче третьей части учебных мест в Екатеринодарской гимназии горским детям.

Когда в Новороссийске собирались средства для открытия первой на побережье библиотеки, государь поддержал эту идею и выделил 1430 рублей, подарил 170 книг и приказал: «возвести особое здание для благородного собрания и библиотеки в Новороссийске». А когда Л. Я. Люлье по Высочайшему повелению составил русско-черкесский словарь с адыгской краткой грамматикой, он без чиновничьих проволочек был издан в Одессе в 1846 г. Этот трехязычный словарь (еще и французский) был настолько важен с политической точки зрения, что автору был пожалован бриллиантовый перстень от Российской Академии.

С ростом горского сопротивления на Кавказе нужна была «крепкая рука и власть», и монарх ввел должность наместника Его Императорского Величества на Кавказе. Во время пребывания в Лондоне в 1844 г. он чётко изложил политику России по отношению к Турции: «Мне не нужно ни дюйма турецкой территории, но я никогда не позволю любой другой державе захватить её» (Н. Бэрзедж).

Николай I внимательнее стал относиться к казачеству: утвердил новую форму, казацьи чины приравнял к армейским, что давало потомственное дворянство. Еще 2 октября 1827 года государь назначил Александра Августейшим атаманом казачьих войск, а «войсковых атаманов» заменил наказными. Так императорская власть закрепилась за казачьими войсками. В сентябре 1850 года будущий наследник и атаман казачьих войск Александр побывал на Кубани.

Историческим для крепости Анапы стал Указ самодержца: «Божью милостью мы, Николай I император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь Финляндский и прочая, прочая, прочая. Правительственному сенату... На всем пространстве северо-восточного берега Чёрного моря учредить три портовых города: Анапу, Новороссийск и Сухум-кале. 1846 декабря 15 дня». Когда в 1856 году наши войска покинули Анапу и крепость была уничтожена без высочайшего указа, монарх считал действия командующего правильными, хотя и выразил сожаление об оставлении Анапы, которую «для морального действия на умы горцев следовало держать».

19 февраля 1855 года на престол взошел новый Император Александр II. Еще в 1850 году будущий наследник и атаман казачьих войск побывал на Кубани. 14 сентября он прибыл на Тамань, посетил госпиталь, побывал в небольшой тогда Фанагорийской крепости. Цесаревич совершил длительное путешествие (228 верст) по Кубани. Будущий монарх побывал в войсковом соборе Екатеринодара и произвел смотр казачьих войск, принял именитых горожан и казаков и побеседовал с ними. 17 сентября остановился на посту Изрядном и отведал студеной водицы, как когда-то это сделал А. Пушкин. Но у реки Белой его кортеж поджидал сильный отряд горцев во главе с Магометом Амином (будущим предводителем черкесов в

Анапе). Не желая подвергать жизнь Цесаревича опасности, маршрут был изменен. Затем будущий Император побывал в Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске и посетил несколько кубанских станиц. Поэтому он достаточно хорошо знал Кубань, казачью жизнь и их службу.

О планах России на Северном Кавказе ясно говорит в своем донесении Александру II политик Погодин: «Необходимо овладеть Черноморским побережьем, Босфором и Дарданеллами. Чёрное море должно стать местом наших маневров... Нам предстоят немалые труды – сооружение крепостей на Черноморском побережье, снабжение всех стратегических пунктов всеми видами вооружений. Необходимо завершить войну с народами Кавказа, которая потребует еще немалых затрат и большого упорства» (Н. Бэрзэдж). Погодин внушает монарху, что Кавказская война всего лишь прикрытия по овладению Чёрным морем. Александр II, памятуя завещание Петра Великого, чётко знал, что нужно России на Кавказе и каковы будут для неё выгоды после овладения им. Поэтому, по окончании Крымской войны государь лично приказал срочно занять Анапу, чтобы среди натухаев не возник новый очаг сопротивления. Он прекрасно понимал значение Анапы в руках черкесского предводителя Сефер-Бея, как символа сопротивления горцев. К сожалению, он же 31 марта 1860 года подписал и Высочайшее повеление об упразднении Анапы как города, и она стала просто поселением. Хотя с ростом числа жителей Анапа вновь обрела статус города.

Кавказская война подходила к концу, и Александр понимал, что Кубань необходимо заселять. В феврале 1860 года по его повелению была образована Кубанская область со столицей в Екатеринодаре, потом Черноморское Казачье войско было переименовано в Кубанское Казачье войско, а через три года на побережье и Северном Кавказе был основан уже 71 населенный пункт.

В сентябре 1861 года уже в качестве Императора Александр II вновь побывал на Тамани, чтобы лично ознакомиться с положением дел в районе боевых действий. Депутация адыгов обратилась к нему с просьбой не выселять их с родных горных мест, они обещали верой и правдой служить Государю и защищать Россию от врагов. Он пообещал подумать и на новую их просьбу предложил им альтернативу в резкой форме: «Я даю месячный срок – абадзехи должны решить: желают ли они переселиться на Кубань, где получают землю в вечное владение и сохраняют свое народное устройство и суд, или же пусть переселяются в Турцию» (С. Эсадзе). В тот же день он утверждает план Евдокимова по усмирению Западного Кавказа, в котором говорилось: «Переселение горцев в Турцию без сомнения, составляет важную государственную меру, способную окончить войну в кратчайший срок, без большого напряжения с нашей стороны». Начался заключительный этап Кавказской войны, закончившийся выселением всех, не покорившихся, адыгов в Турцию.

Монарх был в курсе всех событий на Кубани, заботился об увеличении притока населения, одобрил устав учительской семинарии. В 1874 г. он утвердил герб Кубанской области, в котором был добавлен штандарт с вензелем Императора.

А ещё раньше, в 1868 году наш земляк генерал Д. В. Пиленко обратился к Государю «с всеподданнейшим докладом о принятии в ведение Удельного ведомства красивейшей местности, расположенной у моря, около живописного, глубокого озера Абрау... находящегося в 25 верстах от Новороссийска и в 45 верстах от Анапы». Весной 1870 г. императорская семья стала владельцем имения у моря в Абрау-Дюрсо.

Правители России понимали, что пустующие земли необходимо быстрее заселять и обустраивать. В 1864 году монарх одобрил проект железнодорожного пути Ростов – Владикавказ. Российская империя все глубже пускала корни в кавказскую землю.

Кубань продолжала усиленно осваиваться и при Александре III: строились дороги, заводы, открывались школы, росли города, а главное – увеличивалось население, даже за счет иностранцев

И этот Император побывал на Кубани. В сентябре 1888 года он останавливался в Екатеринодаре. С ним были жена и 20-летний цесаревич Николай Александрович, который был в

форме лейб-гвардии Кубанского казачьего эскадрона «собственного Его Величества конвоя», и второй сын – Георгий. Император произвел смотр войск, а на торжественном круге (сборе) ККВ, он передал атаманскую булаву «как августейшему атаману всех казачьих войск» наследнику Николаю. Он присутствовал на открытии железнодорожного сообщения Екатеринодар – Новороссийск. Поездом вся царская семья отправилась через Тоннельную в Новороссийск и далее пароходом в Батуми. У Александра III было достаточно времени, чтобы поближе узнать наш край. В честь его приезда были построены Царские ворота, на которых была надпись: «Да осенит тебя, великий государь, божиею благодатью твой ангел-хранитель». Ворота были величественным украшением города. Они сослужили службу и для встречи старшего сына Александра III – Николая.

Ещё юношей, цесаревич Николай ознакомился с трудом кубанского историка Ф. Щербины. Его поразила масштабность работы, и он подарил автору перстень с бриллиантом. Став Императором, Николай II назначил Ф. Щербину начальником «Экспедиции по исследованию степных областей».

Понимая значение казачества и отдавая должное деятельности выдающихся атаманов ККВ, монарх распорядился увековечить их память в именах воинских частей. Так появились: 1 Таманский полк им. генерала Безкровного, 1-й Полтавский полк имени кошевого Сидора Белого, 1-й Уманский полк имени бригадира Головатого, 1-й Екатеринодарский полк имени атамана Чепеги, полк имени Екатерины Великой и др.

Но в стране поднималось революционное движение, и Кубань – оплот царизма, в этом деле преуспела. В Новороссийске появилась первая в стране республика Советов. Взбешенный Император приказал 30 октября 1906 года ввести на Кубани военное положение. Последний раз Император России побывал на Кубани во время 1-й Мировой войны. В наши дни памятник Николаю II был открыт в Сочи.

Но не только Императоры России, но и их Наместники – Великие князья не оставляли без внимания Кубань и Анапу. Один из сыновей Николая I Великий князь Михаил был назначен Наместником Кавказа и Главкомом Кавказского военного округа в 1862 г. А чуть раньше он посетил Екатеринодар и осмотрел Крымское укрепление. Еще через год он с супругой побывал на Кубани вторично: посетили собор, госпиталь, и присутствовали при открытии Мариинского училища. В этой поездке по Кубани на его отряд было совершено нападение горцев. Великий князь наблюдал за боем безбоязненно. Именно ему довелось принимать парад русских войск на Красной Поляне 25 мая 1864 года по случаю окончания Кавказской войны. Великий князь зачитал свой приказ и телеграмму Императора, в них говорилось о значении окончания Кавказской войны и покорения Кавказа для России. Александр II наградил Михаила Николаевича орденом Святого Георгия и дорогой саблей с надписью «За окончание Кавказской войны», а солдаты получили медали «За покорение Кавказа». В его честь был назван Михайловский перевал за Геленджиком.

Известный анапский краевед Л.И. Баклыков в книге по истории Анапы приводит интересную деталь. Во время Гражданской войны в Анапе в гостинице «Метрополь» одно время проживали Великий князь Андрей Владимирович с матерью Великой княгиней Марией Павловной. Великий князь был вместе с примадонной Императорского театра Матильдой Кшесинской, от которой имел сына Владимира. Врач Купчик лечил Владимира от «испанки». Позже, уже в эмиграции балерина станет женой Андрея Владимировича. А в юности Матильда покорила красотой самого Императора Александра III и четыре года имела любовный роман с будущим монархом России Николаем II. Так что Анапа в смутное время оказала приют лицам императорской фамилии.

В марте 1917 г. двоюродный брат Николая II Кирилл Владимирович принял положительно революцию и поднял над своим дворцом красный флаг. Так вот его внучка Мария Владимировна Романова побывала в Краснодаре 17 июня 1993 года. Вместе с ней Кубань посетили её 12-летний сын Георгий и её мать Леонида Георгиевна из грузинской царствующей династии.

Но и это ещё не всё. В 1918 – 1919 году в кубанской станице Новоминской у царского телохранителя казака Тимофея Ящика проживала родная сестра Николая II Ольга Александровна с мужем, полковником Н.А. Куликовским, и годовалым сыном Тихоном. Здесь у них родился сын Гурий. Таким образом, племянника Императора Николая II следует считать уроженцем Кубани. О судьбе Гурия почти ничего не известно. А вот жена Тихона Николаевича Ольга Николаевна Куликовская – Романова приезжала из Канады в станицу Новоминскую в 2003 году. Небезынтересно, что когда в 1993 и 1995 годах проводились генетические экспертизы в Англии и США для установления идентификации личностей Николая II и его семьи, расстрелянных в подвале Ипатьевского дома в Свердловске, то исследовалась и кровь его племянника Тихона Николаевича Куликовского – Романова. Это было последнее посещение нашего края лицами императорской фамилии.

По состоянию на 1913 год на карте Кубани было 49 названий населенных пунктов и учреждений, связанных с именами царской фамилии, в т.ч. и в нашем районе.



ХОМЕНКО Татьяна Константиновна – родилась на Вологодчине в 1946 г. Жила и получила образование в Ленинграде – полиграфист (ЛИПТ, 1965 г.). Трудилась в Анапе: главным инженером Анапского полиграфического объединения (1969-1979 гг.), затем более 30 лет – в Анапском археологическом музее, возглавляя отдел научно-просветительной работы.

Литературным творчеством занималась со школьных лет. Автор двух книг: в 2006 г. – «Путь длиною в сто лет» – история Анапской типографии, и в 2009 г. – «Продолжи песню леса» – история её рода – Горышиных. Публиковалась в краевых и местных периодических изданиях: журнале «Родная Кубань» № 2 в 2013 г., в ежегодном журнале «Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе», «Человек труда», «Литературная Кубань», газетах «Анапское Черноморье», «Анапа», «Черноморка» и других.

Награждена: медалями «За долголетний добросовестный труд», «За вклад в развитие курорта Анапа».

Член Союза писателей г.-к. Анапа.

ОДИССЕЯ ВЛАДИМИРА ОГНЕВА

Вместо вступления

Жизни целого поколения – миг в истории. И судьбе было угодно отвести нам в качестве времяжития самое страшное столетие за всю историю человечества – XX век, огромный и сложный пласт времени... Для многих и многих с его окончанием уходила в прошлое (а скорее – в глухое забвение) целая эпоха, составляющая смысл и цель их трудной жизни.

Писатель Андрей Платонов подметил: «Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемен своей судьбы; бывает время, когда только воспоминания о прошлом утешают живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец».

Все мы жили в предложенное судьбой время, которое определяло наши поведенческие правила. В Советской России почти вся интеллигенция, кроме небольшого, прикормленного всевластного официоза, была гонима, по крайней мере, подозреваема. Почему же, в одинаковых вроде бы условиях, так по-разному складывались жизни людей? Что служило мерилom для каждого: свойства собственного характера или неотвратимость обстоятельств, которые диктовала эпоха?

По определению известного мыслителя, народ – это совокупность человеческих личностей. История народа – совокупность человеческих биографий. О жизни, достойной удивления и восхищения, о жизни писателя анапчанина Владимира Федоровича Огнева и будет наш рассказ.

Родословная

Родился наш земляк 7 июля 1923 года в Полтаве. Точнее, «в фаэтоне, который опоздал к маме, когда она пыталась дотянуть до родильного дома», словом, в дороге. Отсюда, по-видимому, и его дальнейшая судьба странника – по земле, по лите-

ратурным жанрам, по смежным видам искусства. Его профессиональной сферой деятельности стали стихи, проза, литературная критика, киносценаристика, музыка, театр. И еще огромный воз общественной деятельности. Ноша, казалось, не тяготила его, а добавляла силы, азарта в такую непростую жизнь... Но это всё потом. Сначала о корнях.

По достоверным сведениям мать Володи – Гордиенко Полина Фёдоровна – украинка, полтавская учительница. Об одном из потомков их знаменитого рода упоминает Пушкин в примечаниях к «Полтаве». Кошевой атаман Кость Гордеенко (так у Пушкина) был четвертован по приказу Петра Великого за отказ поддержать русских и желание с помощью Карла XII сделать Украину, как теперь бы сказали, «самостийной». Это одна ветвь предков В. Огнева. А другая – более загадочна и легендарна, хотя дедушка с бабушкой по линии отца жили в гоголевских местах: на хуторе близ Диканьки. «Нимэць» на Украине – синоним «иностранца» вообще. А иностранцев на Полтавщине со времени Полтавской битвы со шведами было хоть отбавляй. Бабушка, по прозвищу «Нимчиха», много интереснейших историй рассказывала. Но кто был в роду его отца (чех, югослав, швед?..) – навсегда покрыто тайной. Фамилия «Немец» не была здесь такой уж редкой.

Сюда, в Анапу, родители с пятилетним сыном Володей переехали на постоянное место жительства после долгих скитаний по Кавказу. Отец работал на «кочевой» службе, поэтому семья часто переезжала: Теберда, Владикавказ, Сочи. В Анапе решили осесть «своим домом». Приехали сюда, как чужаки, никого не зная, жили поначалу изолированно, достраивая свой дом (*№ 42, нумерация довоенная, по улице Проталова. – Т.Х.*).

Отец, Фёдор Михайлович Немец, работал коммерческим директором винзавода «Абрау-Дюрсо», позднее – на Анапском винзаводе. Мать, Полина Фёдоровна, учительствовала в младших классах. Школа, в которой она работала, находилась в старом особняке, который называли Генуэзским. «Окна там были разноцветные, и оттого пол в большом зале казался зеркалом калейдоскопа, а девочки и мальчики становились похожими на арлекинов».

Детство

Золотая пора, всё было просто и естественно. Постоянная готовность к восторгу, столько поводов для радости! А от пролитых слёз очень скоро не остается и следа. Всю оставшуюся жизнь с улыбкой вспоминаем детство.

Когда Владимир стал постарше, мир вокруг него расширился, все пространство его детства заняла дружба. Драться он не любил, но и не драться было стыдно. «Ходить на греков» было просто необходимо: неписаный кодекс уличных мальчишек считал это чем-то вроде «дуэлей в защиту чести». Шла вся улица имени графа Гудовича против улицы Крепостной, где жили одни греки. Для этого надо было преодолеть глубокий ров, который тянулся до маяка, подняться на вал и с него обрушиться на готовых к отпору потомков Ахилла. Это был именно ритуал, никакой национальной розни. После этого мальчишки играли в футбол – вместе, команды были постоянные и составлены были не по национальному принципу.

30-е годы. Школа – первая образцовая им. Пушкина – в самом Курзале, только отгорожена железными прутьями и фигурной решёткой по ним. Никто не знает, откуда такая роскошь: на решётке гербы, короны, львы, птицы с двумя головами на одной шее. Здание маленькое, есть даже проходные классы – комнаты, зато окна были огромные и высокие (их называли венецианскими), и все они выходили на широкую террасу, выложенную цветной каменной плиткой – мозаикой.

Музыка была первой страстью Володи. Разноцветные, пахнувшие аптекой медиаторы он покупал в магазине канцтоваров в отделе, громко названном «Музыка и сопутствующие товары», а Костя Челикиди учил его нотной грамоте. Володя играл в городском струнном оркестре, даже вёл соло на своей перламутром отделанной мандолине.

«По «Радио Анапы» (да, да, было такое!) передавали концерт районного вундеркинда – Немца Владимира. Сначала старичок Николай Николаевич Рождественский, историк, краевед и попечитель музея археологических находок, а ближе к делу – дирижер школьного нашего оркестра и муж учительницы литературы, объяснил публике, кто я такой и чего достиг. А потом я сыграл две пьески на расстроенном рояле, взятом в «студию» напрокат из рыбколхоза», – вспоминал позднее Владимир Фёдорович. Вы, наверно, догадываетесь, что юный Немец – не Шостакович, и даже игра на скрипке Николая Николаевича – далеко не исполнение Ойстраха.

Шёл 1937 год. То время осталось в памяти ночным перешёптыванием родителей. Ночных шёпотов, к которым дети не прислушиваются. И голос отца, его вздох: «Перелёт..., недолёт...» – Володе были непонятны. А означали они многое: сосед справа, профессор, арестован; сосед слева, адвокат, взят ночью.

В старших классах Немец учился в единственной десятилетке Анапы – школе № 7, бывшей школе II ступени, что располагалась возле его дома. Больше всего мальчишки – старшеклассники любили футбол, играли до потери сил, до сгустившейся темноты на футбольном поле, находившемся возле старого кладбища. Любимая в городе команда называлась гордо – «Винзавод».

20 июня 1941 г. на школьном выпускном вечере будущему писателю подарили чемодан для нот и смены белья. В этот же день они с другом Сашей и сфотографировались.

Юность, опалённая войной

В первый же день войны позвали мальчишек на фронт слова из чёрного круглого репродуктора.

«Да, всё началось тогда, утром... Мы стояли у столба на углу, возле динамика. Людей становилось всё больше. Какая-то женщина вытирала глаза платком. Мы ходили с дядей Мишей на пристань за рыбой и возвращались с кошёлками, полными свежей барабульки, прикрытой вчерашней газетой. После ночной путины часть улова тогда продавалась прямо в порту. Я слушал про вероломное нападение Германии, про бомбёжки наших городов. Дядя Миша сказал: «Даже не верится. Без объявления войны. Как папуасы...», – губы его дрожали. Папа, тот всегда говорил, что они «полезут, в конце концов», а дядя Миша пожимал плечами: «Зачем им лезть? У нас же пакт».

И 22-го июня Володя Немец вынул из чемодана лишние теперь ноты, оставив смену белья, и ушел на фронт. Стал получать письма из Анапы.

«Сашину маму все звали Ганка. Тётя Лиза написала мне, как её убили. Она пошла за хлебом. Когда налетели юнкеры, люди стояли вдоль каменной стены Греческого переулка. Продавщица ушла в бомбоубежище, но люди остались до отбоя на улице – слишком долго они ждали, пока привезут хлеб,... никто не хотел терять очередь. Немецкий лётчик дважды прошёл на бреющем полете. Люди прижались к забору. Тень от него едва прикрывала их. В третий заход лётчик нажал гашетку... Когда продавщица открыла зелёную ставню, люди лежали строго по порядку. Тётя Ганка лежала первой, протянув руку к окошку. На бледной ладони чётко было написано чернильным послюнявленным карандашом – «8». Первые, вероятно, не были на перекличке, и тётя Ганка радовалась, что ей достанутся и круглые булочки из жёлтой кукурузной муки, не только чёрный хлеб».

В марте 1942 года, ещё в эшелоне маршевых рот, получил Володя контузию.

«...Первое ощущение: треснуло зимнее небо, потом лопнула моя голова. Видел: справа – красный снег от крови, слева – зелёный и чёрный от пороха. Потом ничего не помню и не видел. Трое суток – с повязкой на глазах, думал, ослепну».

Это была тяжелейшая контузия. Госпиталь был полевой, размещался в станице. Потом его эвакуировали в Краснодар. Вскоре тех, кого посчитали легко ранеными, отправили по близлежащим райвоенкоматам. Трое пошли пешком в Анапу на долечивание, среди них Володя Немец. В родном городе было много разрушений...

Видел, как казаки в красных башлыках вели коней под уздцы по дну Турецкого вала – глубокой балки через весь город вдоль улиц Протапова и Крепостной. Ров остался ещё со времён русско-турецких войн. Полузасыпанный с годами, он начинался знаменитыми Крепостными воротами с низенькой корабельной пушкой и ядром в траве. Их называли «Ворота графа Гудовича». Накануне посадки казаков на корабли и баржи, немцы устроили свирепый налёт «юнкерсов», разворотив два квартала домов и сметя единственный в городе «Универмаг».

Казаки вели коней к Высокому берегу, к маяку. Это было странно, так как со скал не было сходней и спуска к воде. Наверно – для маскировки, чтобы потом где-то на улице Серебряной повернуть к Малой бухте и спуститься там по пологому склону.

«...Мой дядя, Митрофан Фёдорович Гордиенко, дважды Георгиевский кавалер Первой мировой войны, капитан сейнера, тут же взял меня, находящегося на долечивании, вольнонаёмным конвоя. Мы на своих катерах перебрасывали части на Тамань и Керчь, забирая оттуда раненых. ... Потом был полуудачный рейд с частью конной кубанской дивизии генерал-майора с редкой фамилией – Книга.

Нам повезло. Там, где мы пристали, была пугающая тишина. Одновременно с высадкой части дивизии шла погрузка раненых. Их было очень много. Мы взяли их «под завязку» и шли с большим креном. Раненые стонали, некоторые бредили. Носилок не хватало, мы положили их на матрасы, сразу окрашивавшиеся кровью. Пошёл дождь. Страшное зарево и гул адской канонады охватили полнеба. Вторым эшелонам повезло меньше. Видимо, десант был сброшен в море.

До сих пор вспоминаю то раннее утро в Тамани, когда увидел розовое море. До самой кромки горизонта, где в тумане угадывался Крымский берег, становилось оно с восходом солнца все краснее. Когда спустился по песчаному откосу, вода была совсем алой. Приливом прибывало к берегу красные башлыки до самого туманного керченского берега! Сколько же их было, погибших!? Я это видел!».

Владимир пережил тогда сильнейшее потрясение.

«...И я вдруг так сильно захотел, чтобы кончилась эта война, пусть Священная, пусть Справедливая, пусть Отечественная! Я так сильно захотел испытать одно-единственное ощущение – взять холодные, нежные, девичьи пальцы в руки и дышать на них, и прижать их к шершавым, огрубевшим губам, и чтобы волосы, сносимые ветром, касались моего лица. И чтобы это длилось вечность!».

Снова фронт. Ранение, прогрессирующий туберкулёз, необходимо длительное лечение. В результате – «белый билет». И тут его отзывают с фронта и отправляют в Анапу, по месту жительства.

Без вины виноватые

Современные подходы к изучению военной темы, ввод в научный оборот рассекреченных документов позволяют расширить официальную картину истории Великой Отечественной войны и нашу социальную память.

Но есть страницы отечественной истории, раскрытие которых крайне затруднено. Среди них – свидетельства о массовых репрессиях советских людей-спецпереселенцев. В документальных и художественных источниках встречаются их разные обоснования:

спецпереселенцы, спецпоселенцы, спецперемещённые, депортированные, «лишенцы». Сами себя они предпочитали называть депортированными. Современные толковые словари русского языка конца XX века дают такое (обобщённое) определение терминам:

«Ссылка – насильственное удержание людей на определённом месте, назначенное по суду «тройки», с установленными карами за побег с мест поселения и проживанием не за колючей проволокой. Такая ссылка вошла в практику в нашей стране уже с 20-х годов XX века. Ссылка, которую теперь именуют спецпоселением, на протяжении 30 – 40-х гг. носила официальное название «трудпоселение».

«Депортация – это принудительное выселение (лица, группы лиц или народа) за пределы государства или какого-либо региона. Высылка, изгнание. Применяется по идеологическим, политическим или национальным причинам. Мера уголовного или административного наказания».

Источником исследования этой темы часто служит биография человека, как часть конкретного периода жизни. Благодаря этим «осколкам» частного биографического опыта воссоздаётся коллективный опыт войны, пережитой нашим народом.

Массовые репрессии не обошли стороной Анапу и Анапский район. В городе и сельских населённых пунктах в 1937 году был репрессирован практически каждый десятый местный житель. Это были русские и греки, армяне и поляки, чехи и украинцы. Было фактически полностью уничтожено казачество. В селе Джигинка репрессии повторились в 1941 году. Тогда всё немецкое население от мала до велика было выселено в северный Казахстан. После реабилитации домой вернулся лишь каждый четвёртый. Остальные умерли от голода, холода и непосильной работы. Греческое население села Витязево подверглось новым репрессиям в 1944 году. Те, кому удалось выжить в заключении и трудовых армиях на севере, вернулись в родные места после 1956 года. Их было совсем немного. Судьбы наших земляков, жестоко перемолотые государственной карательной машиной – огромный исторический пласт, который ещё долго предстоит исследовать и исследовать.

Воспоминания писателя Владимира Огнева о пережитой ссылке связаны с анализом собственной судьбы и судьбы его родных. Это потребность пожилого образованного человека оглянуться назад. Его глубоко личные, напряжённые душевные переживания тех лет мозаичны, подробности быта разнообразны и порой уникальны. Немногочисленность такого рода источников придаёт им большую научную значимость.

В Анапе Владимир испытал настоящий шок: он увидел руины родного дома! От соседей узнал, что родителей с сестрой вывезли в ссылку – в северный Казахстан. Родительский дом оказался уничтоженным немецким фугасом! Как жить дальше? Неожиданно его вызывают в милицию на углу Кубанской и Пушкинской, где совмещались, как бы сейчас сказали, «две силовые структуры»: НКВД и милиция. Отобрав все документы (случайно остался в левом кармашке гимнастёрки «белый билет»), выдали Владимиру взамен паспорта временное удостоверение с длинным размазанным штампом (слева – вверх по диагонали) – «Спецпереселенец».

Почему-то он решил, что его ЭТО не коснётся, и торопился доказать «кровью», что это случайная ошибка безупречной системы. Но милицейский чин сказал грустно (он знал отца): «Тебе повезло». Везение заключалось в том, что В. Немец в течение суток должен был покинуть Анапу и следовать без охраны по маршруту Баку – Красноводск и далее – на север Казахстана. Чин или не знал точного места ссылки, или не мог его назвать.

Владимир честно следовал по маршруту (как хотелось увидеть родителей!), только при частых проверках вместо временного удостоверения показывал «белый билет». Позади были Грозный, Баку. Каспийское море преодолел на перегруженном пароме. Ходил на уже подгибающихся ногах, мучили частые голодные обмороки. Но он нашел своих родных!

«Мама мне рассказывала, что утром 12 апреля 1942 года, когда отбомбились «юнкерсы», подъехала к нашему дому полупортка. В ней уже сидели человек десять: женщины, дети, трое мужчин. Черноморские греки. Соседи. Вооружённые люди вошли в дом и

сказали, что нас вывозят в ссылку. По решению «тройки». Что-то зачитали. Дали на сборы всего сорок минут. «Берите самое ценное. Два мешка на семью». Мама молча стала бросать в мешок ложки серебряные, часы, бумаги какие-то, а потом – что попало. «Не мешай, Федя», – сказала отцу. Он суетился, совал совсем ненужное. Солдатик, почти мальчик, шепнул: «Полина Фёдоровна, я спрашивал – вы можете с ребёнком остаться...». Это был мамин ученик, ведь она учительствовала в Анапе с 1930 года – полгорода её знали, уважали. Но мама посмотрела на него непонимающе: «О чём ты говоришь, милый?».

Им уже протягивали руки с полуторки. Нине, сестрёнке, едва исполнилось три года.

И потом была длинная дорога в сорокаградусную жару, в закрытом телятнике, где люди задыхались от недостатка воздуха. Умерла в вагоне женщина. На остановке отец стал стучать в дверь, требуя снять с поезда труп, который уже стал разлагаться. Ответа не последовало, поезд тронулся. Отец с Ниной продвинулся к двери: там хоть чуть – чуть ещё можно было дышать. Поезд остановился в степи. Мимо бегала охрана. Отец снова стал стучать в дверь, требуя отодвинуть засов вагона, чтобы, пусть и жаркий, воздух освежил вагон. И тут на крик отца к вагону подошёл солдат. Он увидел, что отец с силой отодвигает дверь, и ударил прикладом винтовки по железной скобе. Нина, чья головка была прижата к скобе, страшно закричала. Скоба вдавила её нижнюю челюсть...».

Конечной точкой их тяжёлого, подконвойного пути стал северный Казахстан, город Кустанай, село Фёдоровское.

«Жили в саманном домике, напоминавшем землянку, зимой жильё тонуло в снегу, наметаемом за ночь. Ходили в комнату через хлев, в котором хозяйка, ещё в тридцатые годы сосланная с Украины «кулачка», держала корову. Нина грела руки о тёплые бока бурёнки. Это надолго осталось в памяти, как самое приятное воспоминание о ссылке...»

Топили изредка камышом, который не разрешали срезать с озера. Срезали ночью, в бураны, или под утро, когда было безопаснее.

Спали на полу «покотом», как говорила хозяйка. Нину клали на медленно остывавшую печку.

Мама оставалась учительницей и в ссылке. Собирала детей, живших неподалёку от села Фёдоровское, где была зона, и лишённых школы. Это были украинцы, армяне, греки, ингуши. На оборотной стороне обоев, на геодезических документах, найденных случайно, она писала буквы, слова, рисовала.

Из еды долго помнили «лакомство»: благодарные казашки за учёбу детей приносили завернутые в тряпицу куски жёлтого льда. Это было молоко, которое умудрялись сбивать в дубовой колоде. Пахта шла взрослым, масло растягивали надолго для ребёнка.

Одна подробность из рассказа мамы о ссылке. Она спрашивала свою маленькую дочку Нину: «Что это я нарисовала?» – «Не знаю, мамочка». – «Это называется яблоко». – «А что это такое? Такое же вкусное, как картошка? ...»

Владимир неотвязно думал о дальнейшей своей судьбе, прерванной военной биографией. Больше всего он боялся не вернуться на фронт! Только на фронте можно было реабилитировать своих родных и себя, избавиться от непонятной «вины»! Подлечившись и не дождавшись истечения срока «белого билета», явился он на призывной пункт, где молоденькая медичка нашла его вполне годным. Для строевой службы.

Была глубокая осень 1943 г., провожал его на фронт отец.

Жестокий холод в душе, железный холод войны, преследовал его повсюду. Неприкаянное, голодное, полное отчаяния время. А где-то, невообразимо далеко, оставался южный дом, родные, безоблачное детство, школьная жизнь, и Анапа... Как синоним тепла!

Впереди был 364-й резервный стрелковый полк. И там его частенько вызывал играть в шахматы офицер из СМЕРШа, и Владимир каждый раз холодел, выигрывая у него. Он скрывал, что родители – в ссылке, и думал, что игра в шахматы подстроена, чтобы он «раскололся».

Затем была учеба в Молотовском стрелково-миномётном училище. (Молотов – название города Пермь с 1940 по 1957 г.). По окончании учёбы направили в Горький, в Красные казармы. День Победы встретил в составе 53-го отдельного полка Особой бригады резерва. Тогда-то и понял: «Войной не надо гордиться, все беды даются ценой дорогой и заканчиваются ... не победой, а болью и тоской по утраченному, да так и не найденному времени. Может быть, самому дорогому для человека времени – юности».

Война закончилась. Офицера-миномётчика В.Ф. Немца в 1945 году направляют служить в горвоенкомат Ардатова (Мордовия) начальником III части. «Тогда это была не просто глушь, а замороженное до треска в лесах место ужасающей бедности, где совсем не осталось мужиков. Кто погиб на войне, кто не вернулся в эту глушь, написав покаянные письма. И раздавалось среди Берендеева царства непроходимых и забытых Богом лесов заунывное пение о заблудившемся женском счастье...».

...Как здесь не вспомнить фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» с потрясающей сценой: штабеля брёвен на берегу реки. Мать и дочь бредут между штабелями, разыскивая на толстых срезах стволов имя отца и мужа – «прощальные письма» ссыльных.

«Лес рубят – щепки летят», – вздыхаем мы о судьбе людей, ставших жертвами геноцида сталинских лет. Был страх. Большинство верило, что так надо: лучше кто-то пострадает невинно, чем «шпионы, убийцы», посланные к нам мировым капиталом, подорвут, подожгут наш светлый дом. Если в 30-е годы большинство разделяло варварскую веру в наличие «врагов народа», то уже после Отечественной войны таких наивных надо было поискать. Именно тогда, увидев в увеличительное стекло войны всю страшную правду о нас, о себе, так отличавшуюся от розового неведения довоенных лет, это поколение начало трезветь, думать, сомневаться в догмах. Именно с критики догм, насилия над пробуждающейся мыслью начинали они свой непростой путь к правде.

Непокорённые

Отец Владимира был выше и упрямей своей трагической судьбы. Фёдор Михайлович умудрился сидеть при Скоропадском и Петлюре, а при власти Советов спас его от очередной отсидки писатель В. Короленко, с которым была знакома мать.

«Я по молодости лет не очень вникал в его бунтарские высказывания. Не думаю, что у отца была сознательная позиция, скорее всего – инстинктивное нежелание подчиняться насилию и произволу в любой форме.

Он рассказывал: «В ссылке тоже был плюрализм – можно было доносить или не доносить на другого. Полагался даже отпуск от работы. Но можно было и ударить доносчика или вступить за невинного...»

Однажды в ссылке отец вступился за ингуша, которого обвинили в краже колхозной лошади. Его долго избивали ногами. И потом отправили из ссылки... в ссылку: на шахты в город Коркино Челябинской области на самые тяжёлые работы, несравнимые даже с предыдущей ссылкой.

Души калечили во все времена. Но по-разному. Рабы всегда рады безопасному глумлению над тем, кто не вынес непосильную тяжесть.

Фёдор Михайлович немец не только выдержал испытание разлукой с родными и тяжким трудом. Изуверское лицемерие власти не имело предела: его наградили в конце войны медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Перед амнистией ему разрешили воссоединиться с семьёй. Да, очень «справедливая» была система...

Опыт депортаций как печален, так и трагичен, о нём надо знать. Развитие событий в России в 90-е годы свидетельствует об этом. Это урок из трудного и трагического прошлого для многих народов и для России в целом.

«Когда ссыльных отправляли домой, мама не хотела возвращаться в Анапу. Она хотела на Украину, в Полтаву. Но отец был непреклонен. Надо было доказать этой сволочной «тройке», что его не так просто уничтожить. Видимо, для некоторых эпатаж такого рода – на грани политического вызова – есть форма компенсации. Самолюбия. Так поступил и мой отец.

По приезду в 1946 году в Анапу семья стала жить в доме № 30 по улице Крымская. Отец, одетый в рыбацкую робу, нанялся... билетёром на городской пляж. Его расчёт был на то, чтобы ежедневно встречаться с «тройкой», которая осталась при должностях и после войны. Когда кто-то из этой троицы приближался с жёнами и детьми, отец громко кричал рабочему, убиравшему деревянные лежаки: «Витя, выбери самый мягкий, самый удобный лежак! Да скорее! Не видишь, кто идёт!». И кланялся им в пояс. И стоял так, в странной позе, пока отрывал билетки. Так долго продолжаться не могло. Однажды самый главный из «тройки» не вытерпел: «Паяц! Мало тебе дали срока!».

Только этого отец и ждал. Он схватил грабли, которыми собирают «камку» (водоросли), и чуть не убил бледного от страха «начальника». Так отец потерял свою первую работу после великой нашей Победы над фашизмом.

Так что же считать счастливой судьбой? Если бы не «забота» НКВД о моей семье, мама, отец и сестрёнка погибли бы ещё в 1942 году. Немецкий фугас (тонный!) разворотил наш дом ровно через день после того, как их увезли в ссылку на полуторке, охраняемой двумя мамиными учениками, всю дорогу до станции Тоннельная отворачивавшимися от маминого каменного лица. Оба солдатика позднее погибли на войне.

Мама умерла в 1981 году, на два года пережив отца».

Человек может расти, развиваться, сомневаться, но твёрдость убеждений, когда они выстраданы опытом судьбы, – незаменимая ценность личности. Павлы и Савлы – всегда найдутся, Аввакумы или Солженицины – таких людей надо еще поискать.

Литинститут

Только в 1946 году, по личной просьбе, младший лейтенант В. Немец был демобилизован. Домой, в Анапу, он вернулся раньше родителей.

Вскоре поступил в Литературный институт имени М. Горького. Москва, Тверской бульвар, 25. Садик с памятником Герцену. Ах, как хотелось догнать утерянное на войне время! На первом курсе проучился один семестр и, досрочно сдав экзамены, стал уже второкурником.

В своих стихах подражал Пастернаку и раннему Маяковскому. И хотя П.Г. Антокольский и Л.Ю. Брик, придерживавшиеся в поэзии очень строгих критериев, убеждали его не бросать стихи, он знал себя лучше: рано или поздно эта вторичность не даст ему вырваться к самому себе. И он тщательно уничтожил всякие следы своей поэтической деятельности, примерно с 1947 года. Поэзию всегда считал и считает чудом, на которое имеют право лишь избранные Богом, а не называющие себя поэтами стихотворцы. На 4 курсе он уже работал в редакции «Литературной газеты» в отделе критики.

В институте тогда учились Тендряков, Трифонов, Гамзатов, Коржавин, Бакланов, Бондарев, Винокуров, Ваншенкин, Корнилов, Турков, Левин. Никто из них в особом представлении не нуждается. Их знают читатели, они прочно вошли в литературу. Их курс был интернациональной «кузницей кадров». Братские страны, как тогда говорили, посылали для учёбы в Москве свои таланты из Болгарии, Польши, Албании, Кореи.

Диплом с отличием Владимир Огнев получил за критические работы.

В Литинституте он тоже угадал, что отец и мать – «враги», мучительно ждал «разоблачения». Пережитая и скрываемая ссылка постоянно мучила его невольной ложью, недоговорённостью анкет. Писал – «на лечении». И это было правдой: был «белый билет», был туберкулёз

легких. А то, что лечение проходило именно в казахской степи, попросту говоря – в зоне, он молчал. Спасения от тяжёлых ночных дум и ежедневного ощущения обмана не было, с этим и жил. Чтобы освободиться от этой даже не лжи, ему нужна была исповедь.

По окончании Литературного института В. Огнев трудился специальным корреспондентом «Литературной газеты» (1949-1957 гг.). Главным редактором её тогда был В. Ермилов, а с 1950 г. стал К. Симонов. И в «Литгазете» тогда началась новая эпоха, о событиях которой уже много написано.

В послевоенную эпоху советской литературе жилось трудно, но были такие эрудиты, как Огнев – молодые старатели теории и практики. Били из-под тяжёлых камней повседневности живительные гейзеры творчества. Их обнаруживали огневы, они им давали выход в общие русла культуры. Он верен своему жизненному кредо: защите таланта, свободы творчества, неприятию агрессивной посредственности. Помочь, поддержать талантливых авторов – неустанная кропотливая работа на протяжении всей его жизни.

А как после Победы подписывать свои материалы фамилией Немец? Его псевдоним «Огнев» был взят из романа Ф.И. Панфёрова, главного редактора журнала «Октябрь», лауреата Государственных премий СССР. «В стране поверженных» называлась эта книга, и Владимир Фёдорович Немец заменил свою фамилию на фамилию главного героя. С 1950 года он и вся его семья живёт и работает, узаконив фамилию Огневы.

Весной 1954 года Огнев с первым эшелом ленинградских комсомольцев уехал на целину, в Алма-Ату (Кызылтусский район), в длительную служебную командировку – «изучать жизнь». Фраза эта – игра смыслов, понятная и Симонову, и Огневу, и означавшая: просто отсидеться. Как только началась пристрелка по Огневу в ЦК за идейные «заблуждения», «Литгазета», где он работал, спасла его проверенно-нехитрым способом: надолго отправила собкором на целину.

Семь лет работы с Симоновым были хорошей школой для Огнева, профессиональной, жизненной и бытовой. Дипломатичность в делах и точность формулировок в речах Симонова восхищали молодого коллегу. Но бывали и всякие неожиданности. Время здесь – лучший судья.

В опале

В 1957 году, во времена хрущёвской оттепели, в прессе разгорелся большой шум. Молодой критик Владимир Огнев осмелился критиковать поэтических мэтров! В частности, подверг критическому разбору стихи Алексея Суркова, Николая Грибачёва, Анатолия Софронова и других руководителей «литературного процесса». Политическая расправа над первой книгой В. Огнева свершилась почти мгновенно: весь тираж сборника его статей «Поэзия и современность» пошёл под нож. Автора перестали печатать, замолчал домашний телефон.

Из «Литературной газеты» Огневу, единственному в коллективе члену Союза писателей СССР, пришлось уйти, когда главным редактором стал Вс. Кочетов, автор нашумевшего романа на рабочую тему «Журбины». По рекомендации маститого писателя И.Г. Эренбурга Владимир Огнев возглавил отдел критики и эстетического воспитания в журнале «Юность», которым руководил в те годы Борис Полевой.

В редакции «Юности» В. Огнев в течение пяти лет руководил литературной студией молодых писателей «Зелёная лампа». Ежемесячно собиралось объединение из 100 литераторов Москвы, с которыми на семинарах, разделённых на группы прозаиков, поэтов, критиков, сатириков, публицистов, переводчиков и детских писателей, проводились занятия. Огнев лично знал Пабло Неруду, Бориса Пастернака, Юрия Олешу, Илью Эренбурга, Александра Твардовского, Николая Тихонова, Илью Сельвинского, Михаила Исаковского и многих других. Уроки мастерства проводили В. Шкловский, И. Андроников, Ю. Трифонов, Ч. Айтматов, А. Вознесенский, Б. Слуцкий, А. Битов, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Ю. Бондарев, Ф. Искан-

дер и другие. Выступал также Б. Окуджава, вели жаркие споры будущий режиссёр Н. Михалков и критик А. Свободин, театральные критики И. Соловьёва и Н. Крымова.

В сфере интересов «Зелёной лампы» была и мировая литература.

Китайский лозунг о том, что пусть расцветают все цветы, оказался ложен для искусства: «расцветают» и сорняки. Ведь цветы надо уметь выращивать, они требуют от садовника заботливого ухода. Правда, сами цветы этого могут и не заметить.

Кому навредила студия молодых писателей, получившая широкий резонанс у общественности? Кому помешали молодые таланты? Студия прекратила свою учёбу.

«Зелёное, красное, зелёное...»

Однажды в гостях у польского писателя – классика Ярослава Ивашкевича (под Варшавой) В. Огнев рассказал о море, красном от башлыков, о пережитом тогда потрясении. Рассказ произвёл на писателя впечатление трагическим масштабом смерти: «Это не должно остаться устным рассказом!». Так родился замысел повести «Зелёное, красное, зелёное». Было это 23 августа 1964 года. Автор видел в этой своей исповеди спасение от многолетней муки умалчивания.

Книга о войне, ранней юности и памяти детства В. Огневу даже снилась. Калейдоскоп впечатлений, беглых зарисовок и озарений памяти детства, юности – книга почти автобиографична. Но это всё же художественная вещь, и, значит, действительное идёт рядом с вымыслом. Писатель пришёл к повести, разделив себя самого на двух героев. Один из них походил на самого близкого погибшего друга – Сашу Сторчезового, которому автор и посвятил своё произведение. В нём звучит патриотическая тема, тема связи довоенного и современного поколений. А ещё в книге – удивительно тёплый портрет маленького черноморского городка Анапы, где много поэзии и живых красок юга, запахов моря и местного колорита. Наиболее яркие и узнаваемые отрывки из этой книги предлагаются вашему вниманию.

«... И вдруг я увидел чудо. ...Я не сразу заметил, что прямо перед нами стоит гигантская башня. Она чуть светлела на чёрном небе. За ней ревело море, уже вовсю, не стесняясь; а башня вдруг сверкнула ярким пламенем и обдала нас зелёным, сказочно-красивым светом; а потом это зелёное побежало по крышам домов, по деревьям, и мы остановились. Я схватил отца за руку и увидел край пропасти и кипящую зелёную воду моря.... И вдруг стало темно и тихо.... Башня повернула к нам своё огромное зеркало, сверкающее алмазными гранями стрекозиное глазище, и обдало жарким красным цветом и побежало алое пламя по домам, деревьям, вспенило жгутом море». Это про Анапский довоенный маяк.

Название ранней повести В. Огнева «Зелёное, красное, зелёное» не сводится только к огням Анапского маяка. Вся Россия была отчетливо разделена на эти цвета. Зелёный цвет – жизнь с её радостями и заботами, а красный – кровь, смерть, горе. Вспомните дневники А. Блока. Встречаются в книге и другие ассоциации с этими цветами, психологически так же сильно воздействующими на человека. Думаю, каждому читателю предоставлено право самостоятельного выбора трактовки названия книги. Это хороший авторский прием.

Вот она – Анапа довоенная, которую с такой любовью вспоминают старожилы и которая так восхищает читателей книги:

«...Никогда не услышу я голос старого зазывалы-турка, сонно, но цепко смотревшего сквозь клубы ароматного дыма своей трубки, сидя на венском стуле, на тротуаре, напротив лавчонки. Нас, детей, и не надо было зазывать! Как пахли ванильные трубочки, пирожные, только что политые кремом, ещё тёплые и пышные в его «кофейном зале», то есть под цветным навесом, прямо на тротуаре! А кофе! Кто умел его варить так, как в Анапе? Никто!».

«...Почему-то я любил водиться со взрослыми. В Анапе приятелем у меня был колоритнейший дядя Жора Геронтидис со странным прозвищем «Не наш грек». Он приехал из Одессы и мог говорить о ней часами. Он был продавцом мороженого. Геронтидис стоял у Крепостных ворот в белом смокинге, на котором было всего три заплатки, и распоротом в могучих плечах, но в любую погоду – с бабочкой. Рукава смокинга едва доставали до локтей его волосатых рук; белые, в полоску кремового цвета брюки – клёш, безукоризненные усики и пробор... Он доставал из белых, матовых от морозца бидонов, обложенных льдом, мороженое всех оттенков – от розового кисло-свежего фруктового до сливочного, шоколадного и зелёного фисташкового! А когда покупатель внушал ему особое уважение, Геронтидис надевал даже белые перчатки с дыркой, из которой кокетливо торчал мизинец, и не торопясь говорил: «Соблюдайте свой интерес, дамочка, берите большую порцию. Гарантирую натуральный букэт!». Поздно вечером Геронтидис убирал свой раскладной стул, грузил кладь на тележку и, понукая впряжённого в неё маленького серого ослика, трогался в путь».

«...А давящие аппараты «английской марки», на которых почему-то стоял ярлык Ростова-на-Дону, красного, зазывающего колера! Они возвышались на каждом углу Пушкинской. Вы подходите к толстой весёлой продавщице, она жестом фокусника моет стаканчик под стружкой искусственного фонтанчика, крутит ручку, подставляя одновременно стакан с капельками влаги под белый фарфоровый сосочек. Миг – и зелёный сок с кусочками мякоти струится и пенится: виноградный сок давят на ваших глазах. Вы пьёте его – холодный, он туго проскальзывает в горле...».

«В тот день мы и сфотографировались. Обычно долговязый фотограф из курортторга скучал в Пушкинском сквере. Когда-то белые его брюки от фиксажа имели странный цвет и радужные разводы. Город был маленький, и многие уже переснимались, вставляя головы в круглые дырки на полотне, где были нарисованы богатырское тело с золотистым загаром (если снимался мужчина) или пышнотелая девушка с рыбьим хвостом (если хотела оставить по себе память женщина, даже если ей было столько лет, сколько моей бабушке). Наверное, поэтому и не все хотели оставить по себе память. Дядя Миша, например, говорил, что надо писать в районную газету про это бескультурье. Но все почему-то смеялись: им нравилась выдумка долговязого – бескорыстная и ненавязчивая. Ведь у нас была и другая возможность запечатлеть свою физиономию. На Кубанской было настоящее фотоателье «Нарцисс», где можно было сняться на разные документы и где всё стоило дешевле. Правда, в промкооперации снимали хуже, но зато без рыбьих хвостов и без огромных бицепсов на фоне неба и чаек ...».

«В Курзале ежевечерне играл духовой оркестр – моряки, смуглые, в белоснежных форменках, стайками вперевалочку вышагивали за смущёнными девушками, которые обязательно держались за руки, будто боялись, что кого-то из них вот-вот должны похитить. Девушки и говорили, и смеялись немножко громче, чем они говорили бы и смеялись в другой обстановке; моряки же более равнодушны, чем на самом деле, и немногословны – молодые еще. Парочки в Курзале тоже имеют свои места: зелёными террасами, буйно поросшими сиренью, спускается парк к берегу, чтобы вдруг остановиться перед крутым обрывом. Но и там, под обрывом, слышится приглушённый смех, светится в непроглядной южной ночи папироска. Скалы образуют бухточки и лагуны. Море здесь шепчет что-то вечное настойчивое, уговаривая берег, и нашептаться не может...».

«Музыка.... Одна доносилась каждый вечер из городского парка. И другая, отдалённая – из санатория имени Крупской. И еще более отдалённая – из парка Курзала. Летом долго звучали оркестры. Южная ночь была полна звуками далёких труб. Я любил музыку. Под неё я засыпал, и она снилась мне, как что-то красивое, чему не было названия, как обещание счастья».

«Кривой Греческий переулок с подвальчиком, где в полутьме чуть брезжили цветные фонарики, и дышала ночная прохлада, насквозь пропитанная кислотными запахами рислинга и каберне, продаваемыми в разлив...».

Так пленительно, как любил говорить Пушкин, было всё там, в солнечном и беспечном возрасте незнания. Анапа на всю жизнь осталась для писателя первой любовью, трепетной и нежной. Только талантливый, беззаветно любящий Анапу человек мог написать настоящую оду нашему городу – такую яркую, колоритную, зрелищную, запоминающуюся на всю жизнь.

«Ах, городок, городок, ты никогда уже не будешь таким, каким мы тебя знали когда-то! Ты будешь, вероятно, и лучше, просторней, многоэтажней, удобнее для жизни и отдыха приезжающих, но для нас ты никогда уже не повторись, как не повторимся и мы!». Зрелый человек не хочет уходить от того, что навсегда остаётся для него самым прекрасным и полным надежд – от своего детства, ранней юности.

Книга В. Огнева «Зелёное, красное, зелёное...» впервые вышла в Москве в издательстве «Детская литература» в 1972 году (переиздана в 1981 г.), тиражом 100000 экз.

Виктор Шкловский писал позже: «Огнев совмещает в себе одним, в одном лице, критика, прозаика, сценариста. У Огнева есть автобиографическая вещь «Зелёное, красное, зелёное». Это благородная книга принципиально нова: в ней есть нравственная сила, чистота того поколения, которому выпала плохая доля...».

Академик Эфрем Каранфилов в Болгарии выпустил сборник статей, посвящённых лучшим произведениям мировой литературы о юности. Книга нашего земляка «Зелёное, красное, зелёное» стоит рядом с «Маленьким принцем» Сент-Экзюпери.

В 1981 году В.Ф. Огнев получил письмо от писателя Василя Быкова: «Спасибо Вам за книгу, которую прочитал и которая легла мне на сердце, потому что это ведь наша молодость, наш опыт, наша судьба. Очень хорошо Вы написали – безыскусно, значительно, тонко. И трогательно».

И в 2012 году анапчане отметили 40-летний юбилей лучшей книги о нашем родном городе и поздравили с этим событием её автора.

Долгое странствие – жизнь – с возвращением в отправную точку принято называть одиссеей. Путешествие В.Ф. Огнева к себе начиналось в Анапе. Но точка в его одиссее еще не поставлена. Хорошим подарком 90-летнему писателю станет переиздание его книги «Зелёное, красное, зелёное...», почти неизвестной сегодня тем, кому она адресована, – молодёжи. Решение о её переиздании принято Анапской администрацией.

Самое массовое из искусств

Был в жизни В. Огнева интересный многолетний период – его работа в кинопроизводстве. Смежный литературе вид искусства – написание киносценариев. Пришёл наш герой в кино от отчаяния: была куплена кооперативная квартира на деньги, собранные друзьями–литераторами. Долги нужно возвращать, а тут он оказался без работы. Взятся писать сценарий. И вот только тогда понял, насколько сложное, ответственное и интересное это дело. Позже он написал об этом увлекательную книгу «Экран – поэзия факта» (издательство «Искусство», Москва, 1971): изображение и слово, звук, краска, линия. Насколько они важны для понимания природы искусства, чувства красоты.

По его первому сценарию был выпущен на экраны художественный фильм «Ночи без ночлега», снятый на Литовской студии и получивший позднее приз «За успешный дебют» из рук председателя Всесоюзного фестиваля советских фильмов Марлена Хуциева. Этот фильм вышел совсем не таким, каким автор его представлял. Но после – Огнев поверил в себя и надолго влюбился в «самое массовое из искусств». Первая независимая киностудия документальных фильмов «Нерв». Снимали фильмы по горячим следам – в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии. А времена были очень непростые. Но слово давали всем, кто хотел, чтобы его услышали. Без давления и односторонности. По сценариям В. Огнева были сняты 10 документальных фильмов: «В горах моё сердце», «Грешнёвское

лето», «Доброволец Свободы», «Югославия», «Межа» и другие. Он был принят в Союз кинематографистов.

Тогда же В. Огнев вошел в сценарную коллегию Экспериментальной Творческой киностудии – ЭТК (позднее ЭТО – экспериментальное творческое объединение). Напомню фильмы, родившиеся в это время на студии хотя и с муками, но вопреки нудным и трусливым рекомендациям опекунов: «Мой дядя Бенжамен» (в прокате «Не горюй»), «Белорусский вокзал», «Спасите гарем!» (в прокате «Белое солнце пустыни»), «Пиромани», «Фокусник», «Если дорог тебе твой дом», «Гекльберри Финн» (в прокате «Совсем пропащий»), «Афоня», «Сталкер»... Душой экспериментальной киностудии был её художественный руководитель, фантастически одарённый выдумщик сюжетов Григорий Наумович Чухрай. Её холодным умом – Владимир Александрович Познер, директор, человек, прошедший зарубежную школу продюсера, т.е. умеющий считать деньги.

В конце 60-ых именно Г. Чухрай настоял, чтобы главным редактором ЭТК стал В. Огнев. Киносборник фильмов о революции – «Начало неведомого века», был посвящён 50-летию Советского государства. Замысел и сценарный план – В. Огнева. В нём предполагались 4 новеллы как единое художественное произведение. Ю. Олеша, А. Платонов, И. Бабель, К. Паустовский рассказывали о том, что сами пережили, как понимали революцию и как выразили её в произведениях именно тех лет. Образ революции впервые был дан объёмным и противоречивым: трагедия, романтика, жестокость, фарс, тщетность воплощения идеала. Потом доснимали еще две трагические новеллы А. Смирнова и Л. Шепитько. Непросто было понимать революцию, непросто делать.

«Непраздничный фильм», – таково резюме принимавшей комиссии. Революция была праздником?! «Главному редактору киносборника Владимиру Огневу, не обеспечившему... (и прочее) – поставить на вид». Потрясающий фильм лёг на полку и вышел на экран спустя 20 лет (в 1987 году) и только двумя последними новеллами.

Любопытна история со сценарием кинофильма «Хадж-Мурат», о котором вспоминает популярный певец и киноактёр Вахтанг Кикабидзе («Дружба народов», № 6, 1998 г.), у которого была сокровенная мечта сыграть роль Хаджи-Мурата: «Замечательный, изумительный сценарий был у Данелия. Но сценарий не пропустили, такие скандалы из-за него были, не пропустили – и всё, тем дело и кончилось». Оказывается, В. Огнев имел самое прямое отношение к этому «замечательному, изумительному» сценарию, потому что писал его вместе с Г. Данелия!

В. Огневу, у которого уже был к тому времени небольшой кинематографический опыт, виделось Слово – он писал; Г. Данелия – всё держал в памяти и устно строил целое, т.е. Кино. Третьему их соавтору, знаменитому сородичу Хаджи-Мурата, Расулу Гамзатову, была уготована роль консультанта и главного толкача, поскольку тема была достаточно острая. Внесли его имя в титры и потом надолго с ним расстались. Надо сказать, что так восхитившая Бубу «изумительность» сценария во многом возникла из сведений редкого издания – записок адъютанта Шамиля, привезённого В. Шкловским из поездки в Англию. Работали над сценарием в Доме творчества в Переделкино. Строгий Литфонд дал путёвки Расулу Гамзатову и Владимиру Огневу. Под фамилией Гамзатов жил Данелия. Всё было захватывающе интересно: предлагали, подвергали сомнению, отбрасывали прежде казавшееся гениальным...

На студии сценарий «Хаджи-Мурата» единодушно приняли с первого раза, высоко оценили его качество даже в Комитете по кинематографии.

Группа летит в Крым. Студия, натура. Аулы Дагестана. Кинопробы горцев. Шьются костюмы. И. Смоктуновский очень просит главную роль. Все идёт «штатно», как говорят космонавты.

И вдруг рвётся плёнка. Остановлен мотор. Что случилось? В квартире Данелия в Москве отмечали запуск в производство «Хаджи-Мурата». Присутствующий высокий гость – зам. председателя Государственного комитета по кинематографии В.Е. Баскаков – в своем импровизированном экскурсе в горскую войну неосторожно задевает имама

Чечни и Дагестана. Тбилисская чача и гражданский пафос Расула Гамзатова тут же пережестывают через край. Чиновник оскорблён, уходит: «Я не дам делать антирусский фильм!». Дальнейшее развитие – по логике советского абсурда. Выходило, что брошен вызов, по меньшей мере, великой нации.

Какие только варианты не предлагались в дальнейшем, ничего не получалось! Г. Данелия вскоре решительно отказался от продолжения попыток бороться за фильм. Он тяжело, как никогда, переживал это поражение. А В. Огнев всё еще мечтал о «Хаджи-Мурате»! Уже в апреле 1987 г. он один стал писать сценарий двухсерийного фильма по заявке киностудии им. Горького. Данелия благородно согласился на титр: «При участии Г. Данелия». Расул Гамзатов откликнулся на эту новость стихотворением, переведённым Я. Козловским. В нём говорилось о несчастной судьбе горского наиба, которому дважды отрубили голову, второй раз – Госкино. В судьбу фильма поэт уже не верил. И как в воду глядел. Комитет отказал в финансировании съёмок, хотя смета была вовремя сдана и деньги запланированы. Потом стало известно, что фильм будет сниматься в Грузии. Пошли слухи, что сценарий написал Андрей Битов, а режиссёр – Георгий Шенгелая, что начаты переговоры с американской кинозвездой Роберто де Ниро – «единственно возможным исполнителем роли Хаджи-Мурата»...

Прошли годы. Г. Шенгелая снял другие фильмы. О «Хаджи-Мурате» речь уже не шла.... Потом была Чечня.

Г. Чухрай горячо поддержал идею В. Огнева ставить «Мастера и Маргариту». Режиссёром взяли Игоря Таланкина. Огнев даже умудрился опередить Пазолини, первым получив права на постановку фильма у Е.С. Булгаковой. Фильм запретили на корню. Г. Чухрай, чувствуя симпатию и видя в Огневе единомышленника, упорно и дипломатично помогал спасать фильмы. Тепло и с благодарностью вспоминает В.Ф. Огнев эти годы совместной работы с режиссёром незабываемых фильмов «Баллада о солдате» и «Сорок первый». И ещё – Г. Данелия, школу которого он прошёл при работе над «Хаджи-Муратом», многому научившего его за эти счастливые – несчастные месяцы.

Талант преследуем именно за талант, за правду о жизни, за дар Божий, за то, что возвышаются талантливые люди, как личности, над сонмом официальных посредственностей. Это, увы, наши российские реалии.

Горизонты расширяются

В.Ф. Огнев, загнанный в угол неприятностями в России, нашёл поддержку вне её пределов. Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия стали для него вторым домом.

Начались зарубежные путешествия и напряжённая работа. Выпуск первых избранных работ на польском языке, бурное печатание статей. Надо заметить, что В. Огнев читает на всех славянских языках, знает немецкий. Поэтому его экскурсии и отличаются тонкостью анализа, научной серьёзностью.

Потом наступил черёд Запада: Германия, Франция, Бельгия. Затем «Европейский форум» писателей – Обращение к писателям Европы с призывом сотрудничества культур, создание европейских центров, регистрация организаций. Президентом избирают В.Ф. Огнева. Так «не своё» дело становится своим. Многочисленные антологии, предисловия, консультации. И поездки, поездки...

В 80-ых Огнев создаёт новый альманах европейской литературы «Горизонт», идея которого – создание общеевропейского писательского дома – позже переросла в создание «Феникса-XX» – публикацию шедевров европейской литературы и искусства. С 1990 г. В.Ф. Огнев был главным редактором «Феникса-XX». По его словам: «Задумано предерзко: вопреки официозному и во многом лживому толкованию литературы «соцстран», вза-

мен дутых фигур «верноподданных»... – дать русскому читателю возможность узнать действительные таланты, подлинное богатство этих литератур...». Это уже – явление в культурной жизни Европы. Тогда же Ю. Марцинкявичус написал Огневу: «...Радуюсь и горжусь великолепным замыслом. А ведь только в твоей голове, в твоей душе и могла возникнуть идея, вокруг которой, я уверен, сплотятся писатели, деятели культуры нашей многострадальной Европы. ...Ты создан для объединения, для примирения нас... для дела, для добра».

Семь номеров выпуска, четыре книги. Под одной обложкой помещались европейцы: Солженицын и Андрич, Цветаева и Камю, Пастернак и Милош. Новое, не печатавшееся на Руси, чужое и забытое своё. Само название издания говорит об этом: вечное, рукописи – не горят.

Гамбургский счёт, как кредо его журнала – именно он привлёк к нему внимание и наших художников слова – Н. Берберовой, И. Бродского, Льва Копелева, Б. Окуджавы, и зарубежных стран – Неруды, Бергмана, Апдайка, Базена, Валека. И многих других, давно и недавно ушедших от нас крупных писателей. Потрясающие авторы, творчески сильное содержание – журнал читателю будет интересен и сегодня, и завтра, и всегда...

Однако на восьмой книге дело остановилось. Номер журнала не вышел по причине, типичной для наших дней: лопнул и не вернул деньги спонсоров известный столичный банк.

Признание пришло давно...

Как щедр и многообразен талант В.Ф. Огнева, более полувека служащего на ниве отечественной словесности!

Его творческая дорога была совсем нелегка: выбор и становление в редкой профессии – специалиста по истории и теории поэзии. Много ездил, учился и много писал. Композиция его книг свободна: очерки, эссе, новеллы, рассказы о современной поэзии, о поэзии народов СССР, о поэзии славянских народов с углублением в их историю и литературу. Стал серьёзным славистом, переводил и выпускал книги братьев-славян, сотрудничал с их прессой, приобрёл массу друзей. Средоточием книг Огнева, как всегда, была поэзия, хотя в её «горизонты» входят и проза, и кино, и живопись, и всё искусство. Он – вдумчивый автор, смелый критик, имеющий собственное веское мнение. Бесспорно, передовой критик России, работы которого связаны с лучшими традициями науки о русской поэзии: прекрасное знание поэзии разных стран, поэтической техники, большого художественного чутья, глубоких общественных раздумий. Знакомство с творчеством В.Ф. Огнева принесло немало интересных мыслей и имён. Как говорил Лев Аннинский (1961 г.): «Читать комментарий ... (огневский - Т.Х.) едва ли не интереснее, чем читать сами эти стихи – настолько увлекательно, тонко он их расшифровывает, настолько много открывает в них».

В послевоенную эпоху советской литературе жилось трудно, но были такие эрудиты, как Огнев – молодые старатели теории и практики. Били из-под тяжёлых камней повседневности живительные гейзеры творчества. Их обнаруживали огневы, они им давали выход в общие русла культуры. Он верен своему жизненному кредо: защите таланта, свободы творчества, неприятию агрессивной посредственности. Помочь, поддержать талантливых авторов – неустанная кропотливая работа на протяжении всей его жизни.

Сколько же им написано рецензий, предисловий, отзывов! Литературная учёба творческой молодёжи – от известной «Зелёной лампы» в «Юности» до всевозможных курсов в Литературном институте, различных семинаров. А его интереснейшие лекции, которые слушатели помнят всю свою жизнь! Огнев был организатором и зачастую главным докладчиком на многочисленных литературных фестивалях и заседаниях круглых столов, международных встречах писателей и критиков.

Судьба подарила Огневу личную дружбу со многими выдающимися деятелями литературы и искусства: Мирослав Крлежа, Николас Гильен, Ярослав Ивашкевич, Пабло Неруда, Владислав Броневский, Иво Андрич, Милан Юнгман, Дюла Ийеш – крупнейшие поэты, люди-легенды, национальная гордость разных стран мира. Один народ, благодаря своим гениям, знакомится с другим народом. Они имеют громадный авторитет среди интеллектуалов Европы. Любовь к ним повсеместна. Дружба с ними почётна и трогательна. В.Ф. Огнев рассказывает о встречах с друзьями, о беседах с ними на близкие и волнующие сердце темы, о богатстве поэтических форм. И о каждом из них мы узнаём то, чего никогда бы не узнали без его книг. Ему хочется сохранить не только их мысли, но и живой облик людей, чья роль в истории культуры значительна.

Увлекательные истории в жанре путевых очерков; убедительные, блестяще аргументированные эссе – действительно, это блики памяти, мгновенно выхватывающие из мрака забвения отдельные сцены, персонажи, факты, очевидцем, свидетелем и участником которых был сам автор. Очень любопытны подробности атмосферы и литературного быта того времени, взаимоотношений мастеров литературного круга. Его стиль, чуть насмешливый, мягкий и поэтический, характерен для всех книг.

В 2013 году В.Ф. Огнев подготовил к изданию шеститомник «Поэты. XX век», в который включены портретные очерки о более ста лучших поэтах мира, написанные им за долгую жизнь.

Огромная эрудиция автора, знающего всё и вся в литературном мире, легко превращает читателей в самых горячих его поклонников. Сам же он живёт будущим, тем, что ещё надо успеть сделать.

«У Огнева – апостольские годы...»

В данном случае Чингиз Айтматов подразумевает последовательность и силу убеждений интеллектуальной личности писателя на души современников. Этому способствует огромный жизненный опыт и судьба Владимира Фёдоровича Огнева.

Хочется отдельно отметить тот большой резонанс, который получила его общественная деятельность в последние десятилетия. Одновременно с выпуском журнала «Феникс-XX» в 80-тые годы им была создана Ассоциация писателей «Европейский Форум», объединившая 21 национальный центр разных стран. Это совершенно новая модель освоения писателями литературного пространства. Президентом Ассоциации «ЕФ» стал В.Ф. Огнев. Встреча координаторов национальных центров «ЕФ» проходила под личным патронажем госпожи Катрин Лелюмьер, Генерального секретаря Совета Европы. («Европа и мир», вып. 1, 1992г.).

«Сейчас, по мнению некоторых критиков, вечное противоборство, кровавые войны и насилие составляют неизбывную особенность человеческого существования на планете. Слово и мысль Огнева утверждают гуманизм в понятии «общеродового сознания» – главной идеи века нынешнего. Путь этот – фактор глобальной необходимости нового общежития на земле. Да, он длителен, но неизбежен. Можно представить себе, сколько споров и полемики породит это видение гуманизма, но такова логика событий ушедшего и начинающегося веков. Огнев предвидит и предчувствует это из глубины прожитых лет», – сказал об этом Чингиз Айтматов на международной конференции (Брюссель, 2003 г.), обсуждавшей тему «Литература на сломе эпох». Исключительно большое впечатление произвела на ней речь В. Ф. Огнева, именно с таких позиций представившего будущее литературы.

Несколько слов о семье

Семья Огнева состоит из пяти человек: жена, дочь, зять и внучка. В этом окружении любящих и заботливых людей живёт и трудится Владимир Фёдорович. Они – единомышленники, надёжный тыл нашего земляка.

Верная подруга жизни Владимира Фёдоровича – жена Надежда Алексеевна, тоже журналист, она вместе с мужем трудилась в «Литературной газете». Всегда рядом с мужем. Сейчас на пенсии.

В их семье – единственная дочь, Елена Владимировна Огнева (1955 г.р.). Она – ведущий научный сотрудник кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук, член Союза писателей России с 1988 года. Владеет французским, испанским, итальянским, португальским, английским языками.

Муж дочери – Михаил Юрьевич Орехов, кандидат физико-математических наук, начальник отдела в крупной телекоммуникационной компании.

Любимая внучка – Огнева Надежда Михайловна (1986 г.р.) – закончила филологический факультет МГУ и аспирантуру этого факультета, сейчас заканчивает работу над диссертацией, работает старшим преподавателем Школы-студии Московского Художественного Академического Театра (государственный институт).

« Э Х О » № 1 – родной Анапе

В связи с юбилеем писателя Московское издательство «Три квадрата» выпустило уникальную книгу документальной хроники В.Ф. Огнева – «Эхо», тираж которой всего 10 пронумерованных экземпляров. Экземпляр № 1 он прислал родной Анапе. В книге «Эхо» – отзывы о творчестве Огнева, оказавшемся столь значимым в духовной жизни известных деятелей культуры и истории стран Центральной и Восточной Европы. Его талант давно получил всеобщее признание. Свидетельства тому – многочисленные отзывы в книге.

Лидия Чуковская (1957 г.): «Я люблю Ваши статьи о поэзии. В них слышен голос тонкого ценителя, умного критика, талантливое писателя». Ольга Бергольц (1958 г.): «Милому, умному другу поэзии – Володе Огневу». Евгений Евтушенко (1960 г.): «Огневу, одному из единственных, с нежностью». Константин Федин: «Это побольше, чем критика и куда «литературнее», нежели «теория» поэзии или литературы». Виктор Шкловский: «Очень большой талант... Огнев даёт новый анализ стиха в его связи с историей и смыслом времени. Идёт дальше». Корней Чуковский: «Вы для меня – самый близкий... Мне часто сдаётся, что если бы я был молод... я обо многом писал бы как Вы». Игорь Дедков (1983 г.): «Чту Вас как критика с конца 50-х и не помню, чтобы с Вашим именем у меня связывалось какое-нибудь разочарование неверностью голоса, тона, оценки... Это в наши-то неверные времена». Эдуардас Межелайтис (1982 г.), Вильнюс: «И следует сказать – нам всем, поэтам всех народов, приятно встретиться в творческой лаборатории Владимира Огнева. Он, скажу я вам, строгий судья, но у него и заботливая рука садовника». Дмитрий Лихачёв (1992 г.): «От души желаю процветания Вашему хорошему журналу Ваш.». Иосиф Бродский (1993 г.), США: «Дорогой Владимир!... «Феникс» мне понравился. Особенно переводы Хласко и Мрожека. С удовольствием предложил бы Вам что-нибудь, но продукция последнего года преимущественно – по-английски. Бог даст, Ваше издание и я протянем ещё некоторое время, и нам удастся соединиться. Сердечно Ваш». Валентин Распутин (2012 г.): «Дорогой Владимир Фёдорович! Спасибо за память и добрые слова, пусть даже чрезмерные, но искренние. Я в этом, зная Вас, не сомневаюсь... Надеюсь... если будет на то Ваша воля и повидать Вас. Уже совсем мало осталось тех, с кем хочется поговорить и, может быть, попрощаться...».

7 июля 2013 года Владимиру Фёдоровичу Огневу исполнилось 90 лет – пора зрелости, человеческой мудрости, истинной доброты.

А знаете, что ещё отличает работы Огнева? Молодая страстность! Читаешь его книги и забываешь, сколько автору лет. Но Огнев «секрета» своего и не скрывает: «Восхищение талантом – самое радостное чувство в жизни. Может быть, после любви». Вот готовый рецепт читателям и писателям! Кто хочет и может, воспользуйтесь.

**Заключение:
творческие работы и награды В.Ф. Огнева**

Сценарии, драматургия:

Художественный фильм – «Ночи без ночлега» – Вильнюс (Литва)
10 сценариев документальных фильмов – в союзных республиках

Критические сочинения

- * Поэзия и современность. Москва, 1961;
- * Путешествие в поэзию. Махачкала, 1961;
- * Книга про стихи. Москва, 1963;
- * Расул Гамзатов. Москва, 1964;
- * У карты поэзии. Москва, 1968;
- * Экран – поэзия факта. Москва, 1971;
- * Становление таланта. Москва, 1972;
- * Пять тетрадей. Этюды о литературе стран социализма. М., 1975;
- * Югославский дневник. Москва, 1975, М., 1985;
- * Грузинские этюды. Тбилиси, 1976;
- * Литовская мозаика. Вильнюс, 1976;
- * Горизонты поэзии. Избранное в 2 тт. Москва, 1982;
- * Свидетельства. Дневник критика. 1970-1974 г. М., 1982;
- * Годовые кольца. Дневник критика. 1975-1980 г. Москва, Современник, 1983;
- * На древе человечества. Москва, Сов. Россия, 1985;
- * Ночные прогулки. О литературе и искусстве Грузии. Тбилиси, 1985;
- * Семь тетрадей. М., ХЛ, 1987;
- * Глазами памяти. Москва, Правда, 1988;
- * Сюжеты: о жизни и литературе. Эссе и рассказы. М., Современник, 1989.

Повести и мемуары

- * Легенда о Монтивиле, или Памятник неизвестному поэту. Повесть. Москва, 1967;
- * Зеленое, красное, зеленое. Повесть. Москва, 1972;
- * Красные яблоки. М., 1978.
- * Книга воспоминаний: Амнистия таланту. Близки памяти. М., Слово/Slovo, 2001.
- * Путем Одиссея. М, 2011.
- * Эхо. Документальная хроника. М., «Три квадрата», 2013.

Периодическая печать

Как критик и мемуарист печатался в журналах «Знамя» (1987 г. – 11; 1997 г. – 12), «Новый мир» 1988 г. – 4), «Литературное обозрение» (1987 г. – 4), «Дружба народов».

Общественная деятельность

Почётный Председатель Международной общественной организации писателей «Литературный фонд», Член Президиума Конфедерации деятелей культуры и искусства СНГ, член Координационного Совета Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества (АЕАС), член правления Ассоциации Содействия Совету Европы, член Российского ПЕН-центра. Президент Международного Литфонда (с августа 1991 г.).

Награды, премии и звания

Ордена «За заслуги перед польской культурой», «Югославское знамя с Золотой Звездой на ленте» (1989), медали СССР. Заслуженный деятель культуры ПНР. Первая Международная премия «Дружба Культур» (1988) – диплом и нагрудный знак вручала Валентина Терешкова. Премия дружбы Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (1989). Медаль «Честь и Польза» Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия» (2006). Член СП СССР (1952), СК СССР (1969). Был членом ревизионной комиссии СП РСФСР (1985 – 1991). Координатор, затем президент Международной ассоциации писателей «Европейский форум» (с 1990). Пенсия Президента РФ (с 1995 г.).

Довоенная Анапа в жизни В.Ф. Огнева



Единственная в Анапе десятилетка-школа II ступени (с 1938 г. – школа № 7)



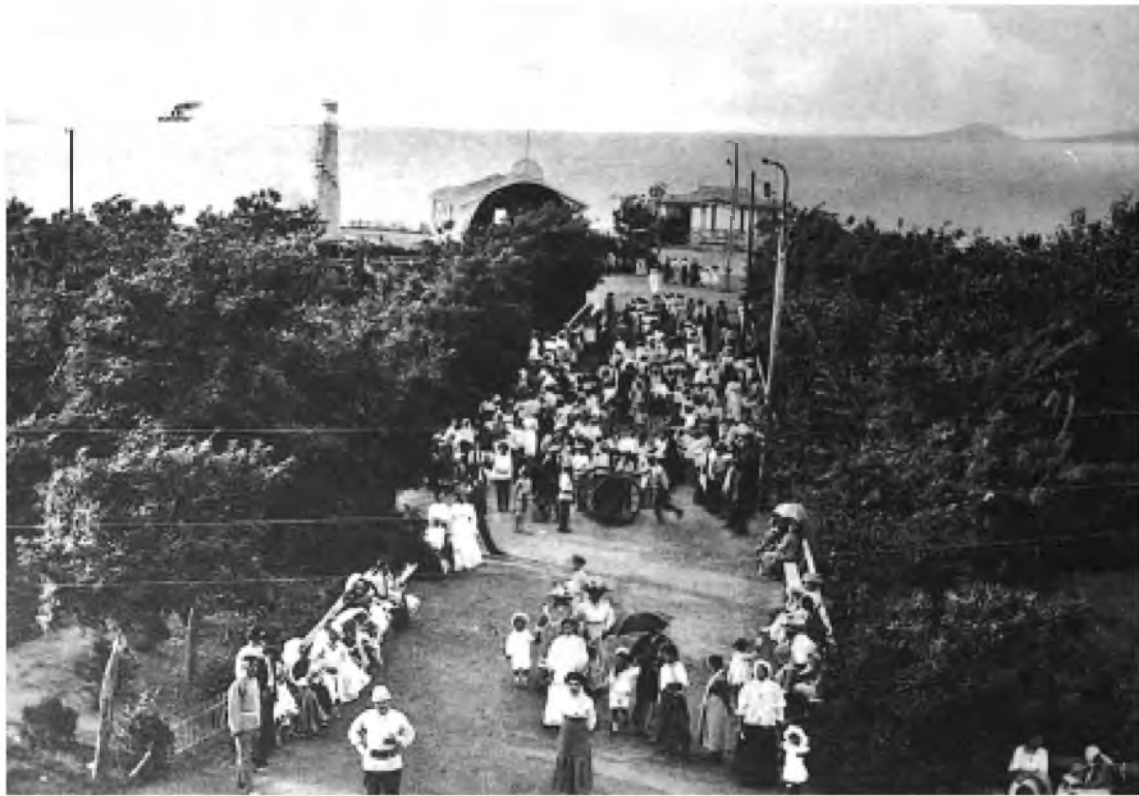
Курзал в Анапе был одним из самых красивых на всём побережье



Сквер Пиленкова



Малая бухта – пляж, купальни



Городской сад, Георгиевская аллея



Крепостные ворота



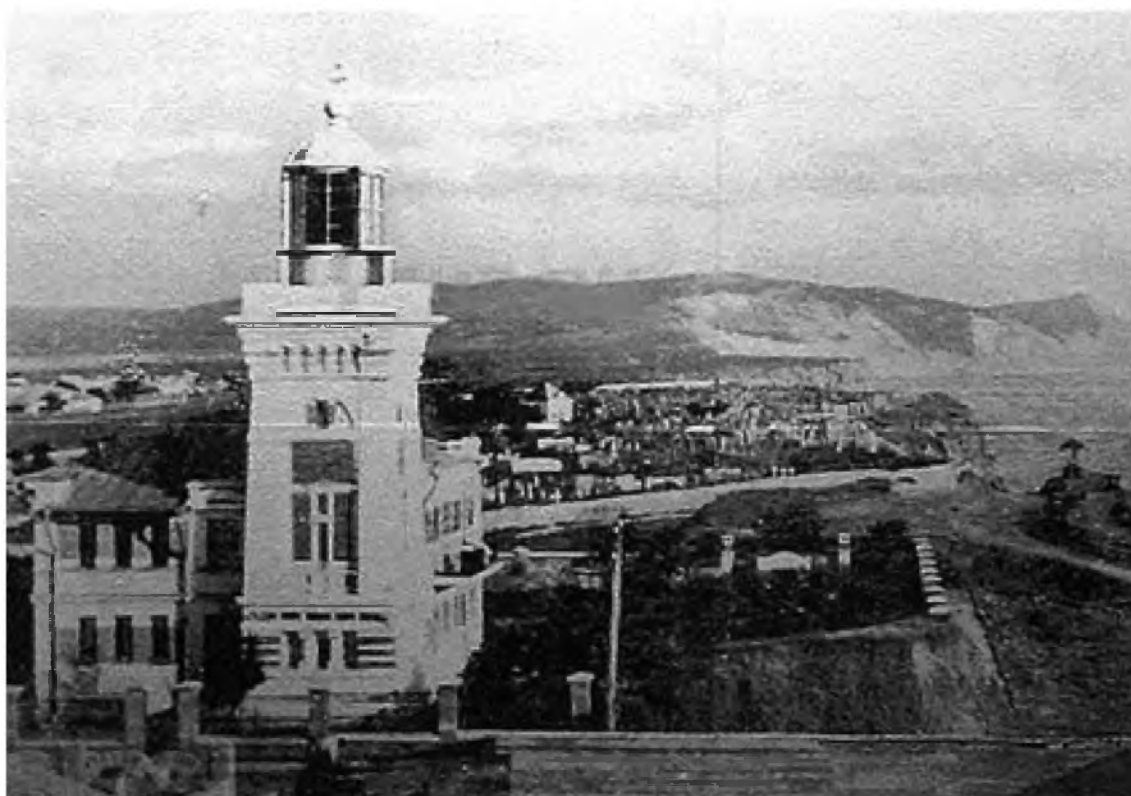
Первая санатория Будзинского



Пушкинская улица



Детская санатория



Старый маяк

Анапа: 50-е годы



Спуск с Набережной на центральный пляж



Памятник «Вечный огонь» в сквере Славы

СОДЕРЖАНИЕ

Огнев В.Ф.	
Напутственное слово	5

ПРОЗА

Чех Н.А.	
Кубанский борщ <i>рассказ</i>	7
Три судьбы <i>рассказ</i>	11
Зарина-Новикова Е.Н.	
Черкешенка Уляша <i>повесть</i>	18

ПОЭЗИЯ

Золотарёв В.Д.	57
Фокин В.И.	61
Клебанов В.З.	69
Севрюков Г.Я.	75
Бондарь Н.Ф.	78
Борисова Е.С.	81

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Шереметьев Б.Е.	
Великое противостояние	84
Ерёмин В.Н.	
Тайна гибели Лермонтова	97
Валиев В.А.	
Российский императорский двор, Кубань и Анапа	109

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ

Хоменко Т.К.	
Одиссея Владимира Огнева	117

ВЫСОКИЙ БЕРЕГ
Журнал
писателей г.-к. Анапа
Выпуск № 1

Составитель и редактор	В.И. Фокин
Набор текста	Т.К. Хоменко
Фотохудожник	О.А. Арифудин
Компьютерная верстка	О.Н. Юрина
Корректор	Н.И. Колпикова

Сдано в набор 09.01.2014.
Подписано в печать 17.02.2014
Бумага офсетная, печать офсетная,
формат 60x84¹/₈. Объем 17,5 п/л.
Тираж 300 экз. Заказ 255.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов
в типографии ИП Будник М.К.
«Анапское полиграфпредприятие» ИНН 230104408102
353440, г.-к. Анапа, ул. Самбутова, 254, тел. 5-42-48

Иван Васильевич ГУДОВИЧ (1741-1820 гг.).

Генерал-фельдмаршал,
Главнокомандующий русской армией,
герой русско-турецких войн XVIII века.

В июне 1791 года
командовал труднейшим победным штурмом
тогда ещё турецкой крепости Анапа.

Награждён золотой шпагой с бриллиантами
и орденом святого Андрея Первозванного
(высшим орденом России).

Его имя занесено в учебники по воинскому искусству.

Памятник открыт 25 сентября 2011 года.

Скульптор А.А. Аполлонов



Алексей Данилович БЕЗКРОВНЫЙ (1785-1833 гг.).

Наказной атаман Черноморского
казачьего войска с командованием Черноморской
кордонной линией. Участвовал в 14 кампаниях
и более чем в 100 сражениях.

Отличился при взятии турецкой крепости Анапа (1828-1829 гг.),
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени
и произведён в генерал-майоры. Полкам Черноморского войска,
находившимся под его началом, были пожалованы Знамена.

Авторы: скульптор В.П. Поляков, архитектор Ю.В. Рысин.

Дата сооружения: 1998 г.

